

И  
Л

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Армандо  
Роблес Годой

В сельве  
нет звезд



4

**Armando Robles Godoy**

Армандо Роблес Годой

## В сельве нет звезд

Рассказы

*Перевод с испанского, составление  
и предисловие Инны Тыняновой*

Москва  
«Известия»  
1983

**И (Латин)**  
**P58**

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

**Роблес Годой А.**  
**P58** В сельве нет звезд / Пер. с исп., сост. и предисл. И. Тыняновой.— М.: Известия, 1983. 144 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Рассказы Армандо Роблеса Годоя (Перу), вошедшие в этот сборник, разнообразны по тематике, проблемам и стилистической манере. О чем бы они ни повествовали: о положении перуанских индейцев, жестокой борьбе с сельвой или трагической любви,— в них всегда звучит призыв к человечности и надежда.

Г 4703000000-028  
074(02)-83 759-83

**ББК 84.7 Пе**  
**И(Латин)**

© Составление, предисловие, переводы на русский язык, кроме отмеченных в содержании знаком \*, издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1983.

## Экран мысли (Вместо предисловия)

*... где горные цепи видятся столь высоки,  
будто упираются в небо, но зато ущелья и  
доли столь глубоки, будто достигают до  
сердцевины земли...*

Инка Гарсиласо де ла Вега, первый  
перуанский историк и писатель  
(1539—1616)

На одном из московских международных кинофестивалей нам был показан перуанский фильм «В сельве нет звезд». Фильм поразил нас своим величавым спокойствием, хотя речь в нем шла об одной из самых пагубных страстей человечества — к золоту. Без малейшего нажима, без внешних оценок, долженствующих натолкнуть зрителя на определенное восприятие происходящего, фильм давал глубочайший социальный и художественный анализ чудовищной власти желтого бога, всей преступности и вместе трагедии его жрецов. С первого до последнего кадра фильм убеждал своей монолитностью, при своеобразии каждой сцены, без психологических предисловий вводя нас в мир неповторимый, со своей поэзией, со своей жестокой символичностью, со своей непререкаемой правдой, которой нельзя не верить, как бы чудовищна она ни была. Фильм был беспощаден, как сама девственная природа, являющаяся вторым (или первым?) его героем. Фильм, однако, не примыкал к литературе «зеленого ада», исторически характерной для Латинской Америки, ярчайшим творением которой был классический роман Хосе Эустасио Риверы «Пучина». «Зеленый ад» предстал здесь отмеченный четкой печатью современности — и по стилистике, и по образности, и, что главное, по ходу и характеру исследовательской и художественной мысли. Создателем фильма был человек, соединивший в одном лице кинематографиста и писателя, — перуанец Армандо Роблес Годой. Неважно, что родилось раньше, фильм или рассказ того же названия. Возможно, они рождались вместе в глубине души художника, даже если появились на

свет в разное время. Экранную форму обрел и другой его рассказ — «Зеленая стена», скупой на внешний диалог и щедрый на внутренний, тесно сплетающий природный пейзаж с пейзажем человеческим. «Сегодня, если уж суждено писать, то надо писать для экрана» — эти слова Армандо Роблеса Годоя не следует понимать только буквально, ибо в них выражен главный тезис его литературного творчества. Для экрана — чтоб было *видно*, безошибочно видно то, о чем написано, видно в своем видимом и невидимом образе, в своем заявленном и скрытом значении.

Каждый рассказ Годоя, какой бы особенностью ни отличалась его тематика, как бы ни были неожиданны стилистические средства (каждый раз другие), какими она решена, как бы ни был нов угол зрения, под которым она рассматривается, и психологический ключ, каким она раскрывается, входит равноправно в создаваемую картину жизни.

Несколько основных тем господствует в рассказах Годоя, преломляясь всякий раз по-новому, в зависимости от особой социальной, психологической и художественной задачи каждого рассказа. Первая из них (вернее, одна из них, ибо все они равны по значению, даже занимая пространственно разное место) — тропическая природа, сельва, великая, таинственная, неразгаданная и не подлежащая разгадке, единая и неделимая, пантеистически воспетая за величие и беспристрастно судимая за беспощадность, враг человека, если он не сумеет полюбить ее и понять, и друг его, если он со святым усердием станет помогать ей в ее плодородии и цветенье. Тема-персонаж, ибо сельва все время рядом с нами как какое-то мифологическое существо, как самый вечный из мифов. Сельва, в которой нет звезд, которая зеленой стеной отгораживает человека от сложившихся представлений и навыков жизни.

Другая тема — человек, вернее, современный человек в его соотношении с тем миром, в котором он существует. Человек, воспетый, как и сельва, за величие и силу и судимый за падение и слабость. Так в герое рассказа «В сельве нет звезд», воре и убийце, исторически присутствует, пусть отрицательный и с вывертом, пафос первооткрывателей новых земель, та

сила, которая, как в повествованиях о капитализме эпохи первоначального накопления, вызывает если не сочувствие, то признание ее реальности и действенности. Правда жизни далекого континента встает со страниц рассказов Годоя и присутствует в самом авторском взгляде на описываемые события, ибо это взгляд человека, предельно знающего свою землю и свой народ и одновременно впитавшего новейшие достижения искусства, характерные для эпохи в целом. Борьба человека со всевластной тропической природой, освоение новых — все еще сокрытых! — ее богатств, особый социальный, психологический и нравственный климат, порождаемый невероятными жизненными трудностями на пути открывания этих богатств и ежечасной необходимостью преодолевать путем нечеловеческих усилий эти ежечасно возникающие трудности; сложная, веками складывающаяся жизнь индейских общин, затерянных в непроходимых чащах; усложненные переживания людей, тоже затерянных — в дебрях современного капиталистического города, отымающего все жизненные ориентиры, — таковы сюжеты, сцены и кадры, запечатленные замедленной съемкой на широком экране исследовательской мысли Годоя.

Есть еще одна, особая тема, со своим рядом персонажей, занимающая в его творчестве важное место, хотя присутствует порой лишь где-то в глубине сюжета. Эта тема — индейцы. Особые характеры и типы человечества, вернее, целое особое человечество — скрытные бронзовые люди с какой-то другой, объемной системой мышления, часто недоступной современному сверхцивилизованному человеку, как утерянная тайна ушедших культур, и в чем-то богаче и глубже его, как первооснова, подпочва жизни. Вечная душа исконных хозяев латиноамериканской земли, низведенных на положение рабов и загнанных в глушь лесов и самой жизни, неразгаданная душа народа, пережившего крушение собственной истории и всё живого, вопреки притеснению, вопреки избиению, вопреки самой смерти. Эта первозданная сложная душа, непознаваемая в своей глубине и необъятности, все время как бы присутствует рядом с человеком современного капиталистического мира Латинской Америки, она рядом, как сельва. Армандо Роблес



Годой не воспевает эту душу, как некогда знаменитые латиноамериканские романтики, он рассматривает ее пристально, с суровым и горячим сочувствием, рассматривает во всем ее величии, пред которым бессильна история. Страшная картина уничтожения великих древних цивилизаций раскрывается через эти загадочные, молчаливые фигуры, напоминающие древние статуи — творения какого-то гениального искусства, секрет которого утерян навсегда. Индейцы, безропотно ищущие золото для странной старухи, неслышные, как сельва ночью, для которых нет ни усталости, ни расстояния, для которых нет невозможного; индейцы, вершащие жестокий, но праведный суд над попом — развратником и убийцей, суд, о котором мы узнаем из уст другого персонажа, в чем-то его единомышленника, что делает еще беспощаднее картину надругательств над мирной индейской общиной; девушка-полуиндеанка, как каменное изваяние над рекой, уносящей в стремнину ее первую и последнюю в жизни любовь...

Если попытаться определить природу реализма повествовательной прозы Годоя, то лучше всего было бы назвать его реализмом поэтическим, ибо поэзия, в открытой или скрытой форме, присутствует постоянно на страницах его рассказов — и в образном характере слова, и в мелодии синтаксических построений, и в самом течении и ходе мысли. Из стихии поэзии естественно прорастает стихия воображения и фантазии, образуя своеобразный сдвиг повествования — в другие времена, в основном в детство. Детство — одна из излюбленных тем Годоя, решаемая каждый раз по-другому и служащая для выявления и раскрытия основной темы произведения. Самым ярким воплощением этой темы-спутника стал образ маленького Ромуло из «Зеленой стены» — творца красоты с поэтической глубокой душой, которому так и не суждено было стать взрослым. Уходы в детство, с какими встречаемся мы на многих страницах рассказов Годоя, это не просто переключка разных периодов жизни, но смещение времени, будто человек живет одновременно в двух временах. Отсюда и форма: временные переходы построены так, чтоб читатель не резко их ощутил, чтобы прошлое как бы вытекало

из настоящего и вливалось в него, словно к прошлому вместе с памятью героя возвращается и память читателя. Прошлое предстает как воспоминание («В сельве нет звезд») или как причудливое видение («Троепутье»), но как бы оно ни возникало, оно всегда обретает пронзительно зримый образ, представляясь порой даже более реальным, чем настоящее. Такой прием видели мы в знаменитых фильмах Ингмара Бергмана, таких, как «Земляничная поляна», «Осенняя соната» и другие. Прием этот — не только чисто художественный, он служит и психологической, а часто и социальной цели. Детство, упорно возвращающееся к человеку в течение всей его жизни и в последнюю долю секунды гаснущего сознания, как бы утверждает единство человеческой личности на всем протяжении ее пути. Детство объясняет, если не оправдывает, поступки человека, вскрывая самый глубокий их корень, — из этого тезиса рождается другой, главный гуманистический тезис прозы Годоя: надо стараться понять человека и если судить, то углубясь в пройденный человеком путь, который в конечном счете един от исходной точки до последнего мгновенья. Лишь так можно доказать значимость даже самой обыкновенной жизни, глубину даже самой обыкновенной души, что и доказывается с такой яркостью в «Троепутье». Эта своеобразная «философия понимания», неформального отношения к поступкам людей как бы призывает читателя делать самостоятельный вывод из всего рассказанного, не опираясь на категорическое суждение автора, делает читателя соучастником процесса творчества, будя его аналитическую мысль. В этом уважении к будущему читателю — еще один из секретов притягательной силы творчества Армандо Роблеса Годоя.

Фантастика в рассказах Годоя — это не совсем фантастика. Грань между реальностью и воображением очень зыбка, доказывает автор, и он намеренно не делает ее четче. Воображение, мечта не мешает реальной жизни, иногда, напротив, помогает понять в ней что-то или принять какое-то конкретное решение. Поэтому рассказы часто кажутся полуфантастическими там, где речь идет о событиях реальных, и, напротив, приобретают черты реальности там, где описывается фантастическое и

невозможное. Фантастика у Годоя подчинена задаче исследования человеческих побуждений и поступков — так в поэме в прозе об одиночестве человека в обществе, где нет разумной цели («Пальмы...»), так в видении смерти, возвращающем к жизни («Холод»). С ощущением зыбкости человеческого существования в том мире, который по самым устоям своим враждебен человеку, встречались мы у замечательного фантаста современности Рэя Брэдбери, и в этом смысле фантастика Годоя, как и фантастика Брэдбери, социальна, ибо служит средством обличения мира насилия и действующих в нем законов жестокости. Связь с Брэдбери — по обрисовке характеров, по стилистическим ходам — иногда проявляется столь ясно (как, например, в рассказе «Пальмы...»), что позволяет предположить, будто автор сознательно отсылает нас к образцу фантастики гневной, критической, обличительной по самой своей сути. Однако и в фантастических рассказах Армандо Роблес Годой остается верен своей земле — и по характерам людей, и по чертам пейзажа, и по страстности метафор, и по броской неумолимости в выборе слова.

Выбор слова — одна из важнейших художественных задач, поставленных и своеобразно разрешенных в прозе Армандо Роблеса Годоя. Слово емкое, единственно возможное, предельно характерное в каждом случае, раскрываемое в первоначальном, корневом своем образе и нагруженное всей тайной последующих своих значений, — чтоб выработать подобное слово и чтоб оно прозвучало новаторски, надо быть преемником традиций родного языка и родной земли. Армандо Роблес Годой остается верен многообразной и многозначной традиции — фольклорной, литературной, изобразительной, музыкальной — одного из самых сложных конгломератов, созданных историей, — Латинской Америки. Он остается сыном той земли, где по выражению первого перуанского историка и писателя «горные цепи видятся столь высоки, будто упираются в небо, но зато ущелья и доли столь глубоки, будто достигают до сердцевины земли...».

*Инна Тынянова*

*Часть 1*

**Много отдельных небес**

## В сельве нет звезд

Индеец занес уже свой тесак, когда пуля, пройдя сквозь подбородок, раздробила ему череп.

Человек с резким отвращением сбросил с себя труп, вскочил с земли, заменил в револьвере истраченную пулю и осмотрел ранец. Проклятье! — компас сломался в схватке. Он швырнул его в сторону, вздел на спину ранец, подобрал тесак и перешагнул через мертвого индейца, словно это был упавший ствол.

Река Уальяга, если идти правильно, была лишь за день пути отсюда; но правильный путь в сельве — неразрешимая загадка, и он знал, что ему никак нельзя двигаться по прямой. Единственная возможность спасенья — дойти до какой-нибудь воды, хоть до крохотного ручейка: он выведет к большему ручью и в конечном счете к реке.

Он продвигался крайне медленно, прорубаясь сквозь плотный кустарник, проползая под колючей путанью веток, перепрыгивая с трудом огромные палые стволы. Все это были лишь физические трудности, тяжело преодолеваемые, но для него уже заранее побежденные; в то время как потеря компаса вернула сельве ее непроницаемую маску — сюда нельзя, туда тоже, а там как знаешь.

Ранец тянул. Тяжелый. Два часа пути — и тяжелее вдвое. Два часа еще — и еще вдвое. С тех пор как он ушел из поселка, не прекращалось это нелепое утяжеленье, и он спрашивал себя, выдержит ли или вдруг упадет под этой тяжестью. Но он не падал. Напротив, шел вперед, словно тяжесть подгоняла его, суля добавочную силу в момент, когда его собственная иссякнет. Пока же ему хватало своей собственной — ноги ступали

крепко. Он нес на спине среди других вещей, в настоящую минуту более важных, тридцать килограмм золота в порошке.

В полдень он остановился, чтоб отдохнуть и поесть. Вынул из ранца большой кусок вяленого оленьего мяса и недоспелый банан. Отрезал соленый кус и съел вместе с бананом. Еды оставалось на два дня. Он прилег на траву.

Воды у него не было, но будущее было в его руках, а сегодня ночью пойдет дождь. Ему нужна была вода, чтоб пить и чтоб находить по ней дорогу. Он подумал о мертвом индейце. Забывать нельзя. Это не выход. Он не был машиной, совершающей запрограммированные действия; он жил, и каждое движенье, нечаянное или намеренное, был он сам. Мысленно он гляделся в этот пробитый пулей череп. То была молодая, прекрасная жизнь. Индеец жил со вкусом и горд был собою. Старуха выучила его читать и быть настороже с цивилизованными людьми; он научился понимать их, другими словами, обманывать их и презирать их. Он был чем-то вроде управляющего хозяйством в этой странной маленькой общине; осуществлял покупки и продажи с неколебимой уверенностью отъявленного мошенника. Проклятая старуха: она не окультировала его, а цивилизовала. И вот теперь он мертв. Порох оказался проворнее его руки. Они покатались по земле, сцепившись, как два дерущихся кота, и он все пытался вытащить револьвер из кобуры, а индеец пытался высвободить правую руку, чтоб обрубить несколькими взмахами жизнь другого и свою собственную смерть, нагрывавшую двумя точными ударами в переносицу... и когда рука его ослабела на мгновение и выполз револьвер, и пуля... и мозги брызнули в воздух — всё в одно время. А виновата во всем все та же старуха, которая настояла, чтоб проводил его до реки ее доверенный, и наутро второго дня ранец приоткрылся и индеец увидел украденное золото, и оба в одно и то же время, в течение секунды, длинной, как тень, поняли, что они не свободны, что жизнь запрягла их и погоняла, куда не загнала в этот тесный проход с двумя неминуемыми выходами, и сейчас же, без промедления и без прости меня, сейчас, в эту вот секунду... и они обнялись, толкаемые смертью, не желая ни убивать, ни умирать, и один убил другого, и другой

умер, и вот живой вытолкнут наружу и свободен до ближайшей загороди, и затем до следующей, и так от раздорожья к раздорожью, не в силах скрыться от погонщика, до последнего запертого загона. Но в этот раз запертого загона не будет. Ранец с золотом откроет все ворота.

Спасибо старухе. Странная. Одна — внутри и снаружи. Зачем она скопляет все это золото? Быть может, вначале у нее была точная и красивая цель, которую затушевывали сельва и время?

Он открыл глаза и вздрогнул. Уснул, оказывается. Отдыхать надлежало, но терять время — нет. Он встал, подтянул мудреные ремни ранца и продолжал свой путь. Раньше чем дня через три не пустятся в погоню за ним, если, конечно, не хватятся о пропаже. Но навряд ли хватятся. Невозможно. Лишь когда увидят, что индеец не возвращается... И наконец, если преследование уже началось, то все равно все пропало. К дьяволу. Он обуздал свое отчаяние. Если б можно было не думать... тогда сама собой явится какая-нибудь догадка и укажет дорогу. А пока приходилось рассчитывать на силу своих рук и своих ног и на слух, жадно ловящий в этой путанице звуков плеск хоть крохотной струйки воды, где-то ждущей его.

В шесть вечера закончился дневной путь. Он не нашел воду, и его мучила жажда.

Он начал готовить прибежище на ночь. Отыскал два тонких дерева, удаленных друг от друга метра на три, и привязал к стволам веревки легонького гамака, засунутого в ранец перед отходом. Стал думать о дожде. Очень ждал его и потому решил от него укрыться. Развернул непромокаемый плащ-пончо и привязал тремя концами к деревьям над гамаком наподобие треугольной крыши. Есть не хотелось. К лучшему. Однако жажда становилась все невыносимей. Нынче ночью дождь обязательно будет. Он пристроился поудобнее в гамаке. Чащоба уже целиком погрузилась во тьму.

Я хочу пить. Женщина выскользнула из постели и, ничего на себя не накинув, ощупью направилась в кухню. Почти сразу же вернулась со стаканом воды и, покуда он пил, забралась под простыню и прижалась к нему голым телом, в ожидании. Всегда была в ней готовность, свежесть, радостное приятие

его рук, его глаз, его слов, сказанных и несказанных. Он допил воду и принялся рассматривать ее. Она была хороша, смугла, с длинными ногами и с грудями тугими и тяжелыми. Поначалу бывала нежна, и внезапно предавалась какому-то яростному волнению, полному вскриков, и испуга, и радости, и нет, нет, еще не оставляй, не оставляй меня. Потом она входила в полосу покоя, светлого, как недавнее волнение; и всегда угадывался где-то на дне этого покоя сдерживаемый трепет, непреходящий, никогда ты не уставала, никогда.

Он легко поцеловал ее губы, влажные и теплые, как обычно. Она улыбнулась, не открывая глаз, и молча наслаждалась его поцелуем. Из открытого окна ворвалась струя холода с берега, и оба вздрогнули. Она плотнее съежилась, еще ближе к нему, и он обнял ее с силой, но без желания, лежи спокойно, сейчас не надо. Как ужасна была эта любовь. Бесполезная. Впрочем, нет. Бесполезная для нее, но неоценимая для его планов, и если ты так меня любишь, то сделаешь, о чем прошу, что приказываю, что так важно для меня, для нас. Но она не сдавалась и все глядела на него с искорками нежности в глубине глаз, полузатопленных печалью, которая заполняла ее всю, когда он просил ее, чтоб сделала это для него, что это пустяк, что в таких вот вещах настоящий смысл любви, а не в эгоистической страсти и забвении всего. И ворвалась новая струя холода, и они снова содрогнулись, и он натянул одеяло, и оба замерли, укрытые, недвижимые, прижавшись друг к другу, согреваясь мало-помалу и слушая пустынный шум моря.

То был могучий шум. И прорастал отовсюду. И подавлял все вокруг. И казалось, рос и рос, бесконечно. Шел дождь. Он высунул голову из-под навеса, и на лицо ему пролился прохладный поток. Он открыл рот и пил большими глотками, не дыша; передохнул мгновение и снова стал пить. Потом повернулся в гамаке и уснул.

Все вокруг пробудилось, пропитанное влагой. Дождь прекратился много раньше, и плащ прогнулся в середине под тяжестью скопившейся воды. Он съел банан и едва пощипал мясо; он проголодался, но еще не был по-настоящему голоден.



Поскольку унести воду было не в чем, он выпил сколько мог и стряхнул плащ. Еще будет дождь.

Первый удар тесаком, чтоб прорубить дорогу, отдался болью, как удар в спину; второй прошел легче; третий — еще легче. Минут через десять руки согрелись, и удары приходились теперь точно по кустам, превращая их в мертвых и раненых; но великая жизнь сельвы оставалась незыблемой и однообразной. Было совсем темно, и то тут, то там блестели большие мокрые листья. Иногда, когда он случайно встряхивал листву, с верхних веток падал на него короткий, холодный и неприятный ливень. Жабы и лесные сверчки лишь глубже подчеркивали тишину, и через короткие отрезки времени он останавливался и с усилием прислушивался; здесь можно пройти метров за двадцать от большой судоходной реки и не угадать ее; а ему так много и не нужно; ему хватило бы ручейка проточной воды...

Путь был неблизок и труден, потому что узкое ущелье быстро накалялось, как только показывалось солнце; к тому же здесь не было дороги и приходилось обходить скалы и расселины, и все это торопясь, потому что если он опоздает, то найдет уже длинную вереницу других мальчиков и женщин, ждущих своей очереди наполнить ведра из единственного на всю округу родника. Мужчины никогда не ходили по воду. Он знал, что когда-нибудь само собой получится, что он перестанет ходить по воду и это будет знак, что он уже взрослый. Но сейчас приходилось смириться, и каждое утро наполнять водою свои два ведра, и чуть не бегом бежать с этим грузом домой, потому что важней всего была сволочная эта школа, куда нипочем нельзя было опоздать. Он быстро выучился читать и сразу понял, что школа ему больше ни к чему. Все, чему могла выучить его эта идиотка и ханжа учительница, сводилось к ряду глупостей, слыша которые чувствуешь, что тебе дали пощечину или плюнули в лицо — надо, мол, получить хорошее воспитание... в этом-то чахлам захолустье с лысыми холмами, с черствым вчерашним хлебом, где все печально, уродливо и непоправимо.

Поселок лежал всего за двадцать километров от Лимы, но Лима была для его детского слуха лишь каким-то волшебным

словом из где-то слышанной сказки. Он никогда там не был. И знал, что первый поход будет последним, потому что он никогда не вернется в это грязное и нищее захолустье, питающееся враньем вроде: народ — опора государства, и класс трудящихся — класс производителей. Как-то раз их поселок вдруг посетил министр. Он явился в окружении местных властей, с целой свитой чинов пониже, журналистов, фотокорреспондентов, все одеты как спортсмены, с засученными рукавами и в джинсах. Побродив немного среди печальных лачуг, министр произнес речь, и вся компания удалилась, как говорится, без оглядки. Но речь министра застряла в его мальчишеской памяти, обретя тайный смысл, понятный ему одному. Жалкая дыра. У нас в Лиме — другая жизнь. А у вас — место заговорённое, отсюда не вырвешься, потому что заговор мы одни знаем и вам ни за что не скажем и не позволим, чтоб вы из-под ваших четырех холмов на волю вылезли... Вы уж сидите здесь, в дерьме и в тихости, чтоб мы были благополучны там, куда вы никогда не войдете. И он понял, что вырваться можно, только если одному. Без волшебного слова человек, только если один и неведомо кто, мог надеяться войти в заколдованный замок и оставаться незамеченным, покуда не обретет гражданство силы. И с тех пор, идя по воду каждым утром, он прислушивался к самому себе, чтоб разгадать взрослый ли он уже и нельзя ли уже швырнуть наземь ведра и идти дальше. Но пока что межою его был родник.

Однако вот уже полдень, а воды все не видно. Как и вчера, он сбросил на землю ранец и съел кусочек мяса и предпоследний банан. Потом растянулся на земле, положив под голову ранец. Не такой уж тяжелый и немного поменьше, но грязно-желтое вещество все покоится на его дне и пребудет там до конца. Он глядел на маленькие голубые пространства меж вершинами деревьев. Словно много отдельных небес. Пока что не будет дождя. Лишь избранные удостоились близко соприкоснуться с золотом, да и те через обычные обряды. А сам бог оставался сокрытым в своих несгораемых алтарях и общался с верующими через своих жрецов из никеля, меди или бумаги. Люди же растеряли побуждения к жизни, или никогда

их не находили, или, быть может, их вовсе не существовало. И если в приступе просветления признавали полное отсутствие побуждений, то оставался один выход — умереть, и как можно скорее. Но чем смерть, лучше что угодно. И самое простое было выдумать побуждения. К этому и сводится развитие человечества. И самой приемлемой и прочной выдумкой оказались деньги, как вероучение и евангелие желтого бога. Был то бог по видимости щедрый, позволяющий обладать собою всем и каждому, но на деле хитрющий, ибо заставлял всех трястись в вечной пляске, гоняясь за его наместниками, воздавая ему хвалы и творя заклинанья от козней экономики. Он подумал, что и сам плясал так когда-то да и продолжает плясать посейчас. Но хотя бы сознает это. И потому равнодушен к капризам церемониала, хоть церемония оказалась долгой, очень долгой и бог потребовал от него жертв страшных в доказательство крепости его веры. И вот наконец он завладел крохотной, но неподдельной частичкой бога. Только чтоб причаститься. Но и этого довольно.

Когда старый батрак, добывающий каучук, рассказал ему эту странную историю о старухе, живущей в непроходимом лесу в маленьком индейском поселке, у которой за долгие годы труда набралось огромное количество золота, он не поверил в это; но батраку совершенно незачем было его обманывать... Так что попытка не помешает.

На основе всего, что сообщил ему старик, он разработал план, подробный и совершенный. Все, разумеется, зависело от того, существует ли на самом деле это золото. Найти поселок оказалось не так уж трудно. От реки он с помощью компаса взял направление, какое указал ему старый батрак, и через два дня достиг ручья; шел вверх по его течению еще полдня и прямо натолкнулся на хижины поселка. Людей было что-то не видно. Лишь ребятишки копались в земле и, завидев его, сразу пустились наутек; да несколько женщин высунули головы из проемов круглых хижин, посмотрели на него молча и скрылись. Он поискал тенистое место, сел на землю и стал ждать...

Через полчаса он поднялся, привычным уже движением вскинул тяжелый ранец на спину и снова ринулся в свое

сражение с сельвой. За весь вечер ничего не произошло. Независимые маленькие небеса помрачились, и было ясно, что ночью польет дождь; это успокоило его, потому что жажда снова подступала. Он чувствовал себя уставшим, но сильным как всегда. Боль в спине стала уже привычной.

Старуха появилась внезапно. Она была очень стара. Она не выказала удивления, увидев незнакомого мужчину, и не ответила на его приветствие; молча остановилась, пристально на него глядя. Но что-то подсказало ему, что она его не гонит. Он представился золотоискателем и признался, что знает все о собранном ею богатстве.

В поселке он пробыл неделю. Полунамеками старуха дала понять, что найти поблизости какие-нибудь россыпи будет ему очень трудно, поскольку ее индейцы давно уже перевероростили всю округу. Так предупредила она его обиняком, что все здешнее золото принадлежит ей. Ничего она не раскрыла ни о себе, ни о том, зачем здесь живет, собирая все это баснословное богатство. Иногда в сумерках она садилась у огня и слушала истории, которые рассказывал ей гость, но ничего не говорила; и внезапно, в любом месте рассказа, подымалась и шла спать.

Золото находилось в хижине старухи и хранилось в пивных бутылках, рядом стоявших на дощаной полке, незаткнутых и покрытых пылью. Никто их не охранял и не обращал на них вниманья. Он однажды спросил у старухи, как это она так неосторожна, и она очень удивила его своим объяснением: «Сюда никто не приходит. Вы — второй за много лет. Но если бы кто-нибудь и украл что, вы ж видите, я все время захожу в хижину. Она никогда не пустует больше часу, а час пути по сельве — ничто для моих индейцев. Вор и отойти не успеет, как получит стрелу в спину».

И может быть, стрела не так уж необходима — хватает одной сельвы. Он продолжал прокладывать себе путь с трудом, но почти не останавливаясь — лишь на пару мгновений через каждые двадцать — тридцать метров, чтоб услышать воду. Наверняка только назавтра хватятся, когда заметят, что индеец не вернулся, и тогда все бросятся к бутылкам и увидят,

что пыль на них не тронута. Самое трудное было извлечь золото, не дотрагиваясь до бутылки, чтоб не оставить следов, а то тут и слепому будет видно. Он просунул в горлышко тоненький стальной прутик и воткнул его как мог глубже в золотоносный песок; потом накренил бутылку, поддерживая под донышко рукой. И так, зацепив ее прутиком с одного конца и подпирая рукой с другого, он снял ее с полки. Больше всего нужны терпение и осторожность. Катастрофа начнется в тот момент, когда он растеряется и обратится в бегство. Но это не бегство, нет. Его никто не преследует. Индеец умер. Старуха осталась далеко. Река уже близко. Не надо отчаиваться. Не надо торопиться. Он медленно продолжал наклонять бутылку, пока золото не посыпалось в мешочек. Когда мешочек наполнился, он выпрямил бутылку и с той же осторожностью поставил на место, точно, на круглый след, оставленный ею. Не торопясь, спокойно, но с осторожностью. С осторожностью. Если зацеплялся за какую-нибудь колючку, он отцеплялся спокойно, не гневаясь на сельву, притаившуюся в ожидании случая, удобного, чтоб нанести удар... Он наполнил опустевшую бутылку песком, заготовленным в другом мешочке, но не по горлышко, нет, поверх он набросал немного крупинок золота, из опаски. И опаска спасла его, потому что когда он прощался со старухой, та подарила ему несколько золотых зернышек, которые высыпала на листок дерева из одной из бутылок. К счастью, щедрость хозяйки оказалась весьма ограниченной, и, к сожалению, его способность навьючиваться тоже была ограниченной — как у ламы; он не решился сунуть в ранец более десяти мешочков, что составляло килограммов тридцать золота, и поместил их вперемешку с мешочками, где лежали образцы пород, собранные им в походе и которые он, разумеется, охотно показывал старухе. И все происходило как-то само собой, однообразно и даже скучно: он входил в хижину старухи, как только та выходила оттуда, и, не принимая никаких предосторожностей, наполнял золотом один мешочек и клал себе в карман; позднее, через какое-то время, он перекладывал мешочек в свой ранец, который оставлял открытым на виду у всех.

В шесть он сделал привал и привязал к дереву гамак, а над ним свой пончо, как раньше. Необходимо вести себя спокойно, чтоб сельва не догадалась, что он заблудился. Он убедил себя, что не голоден, и съел только банан, последний. Потом лег в гамак и уснул в ту же секунду. В ту ночь женщина вернулась, прося простить ее, и легла с ним в постель. Все произошло как обычно, и они остались лежать, крепко обнявшись; и так, прижимая ее к себе, он говорил и говорил, стараясь убедить ее, что в просьбе его нет ничего дурного, что богач славный малый, в меру туповат, а что его план превосходен, и самое забавное, что толстяк мечтает на ней жениться, и она должна пойти на это для него, только для него, для них обоих, а после свадьбы все пойдет, как задумано, пока не удастся запустить лапу в богатство толстяка, теперь мужа; а там — развод, и они свободны и богаты. Но она плакала так, как никогда до сих пор не плакала, с печалью страшной отчаяния, и вся похолодела и обессилела, а он все настаивал и настаивал, и тогда она сказала ему, что на третьем месяце, и он объяснил ей, что аборт на третьем месяце — сущий пустяк, и в это мгновение что-то сломалось у нее внутри и она ушла, и ее нашли два дня спустя мертвой на окраине города, под обрывом.

Он проснулся, когда дождь перестал. Было еще темно. Небо очистилось от туч. Из-под откинутого плаща он хотел увидеть звезды, но деревья соткали свое собственное плотное небо, и ему не удалось увидеть ни одной, хотя он все всматривался и всматривался, покуда не стало светать. В этот день началось бегство.

Пока прибывало свету, он жадно съел половину оставшегося мяса. Потом, сжав зубы, взвалил ранец на спину. Боль хлестнула его резко, словно проколола и самый ранец. Но он чувствовал себя бодро. Он снова стал продираться сквозь сельву, как делал это до сих пор, хотя в желудке что-то ныло, глухо и пугающе. Сегодня начиналось бегство; но преследование, быть может, еще нет; возможно, они станут ждать индейца до вечера, и тогда будет уже совсем темно и они не смогут отправиться в погоню до завтрашнего утра. Но нужен ли индейцам свет?.. Нет, он не задавал лишних вопросов. Было

очевидно, что метис не очень-то разговорчив, да и его не интересовали приемы той опереточной мелодрамы, какую представляло собой местное политиканство. Все была сплошная грязь, прикрытая звонкими речами о любви к родине, тогда как в глубине шла единственная реальная жизнь всех этих салонных марионеток, которые разыгрывали спасение родины, покуда росли их банковские счета и заканчивалась постройка их особняков в каком-нибудь живописном предместье на зависть прочим выскочкам. Требовалось устранить одного индейца, алькальда какой-то общины на центральном плато, так, чтобы подозрение пало на левых экстремистов. Договорились о цене и что плата вперед. Он получил деньги и долго глядел вслед метису, уходящему по пустынной равнине. Кто этот человек? Ему было глубоко наплевать и на это, и на то, кто тот индеец, которого он должен убить, и зачем это все, и к каким приведет последствиям... Теперь важно дойти до реки; тогда пусть гонятся за ним хоть все амазонские племена, со своими стрелами и шаманами. Но где, где эта чертова река? Сельва все тянулась, со своей свистящей тишиной, со своими деревьями, одинаковыми позади и впереди,— и ни единой меты, ни единого знака, на земле ли или в воздухе. чтоб решить, куда дальше. Он выбрал высоченную скалу, напоминавшую замок из страшной сказки, и укрылся на самой вершине. Оттуда виделась на все стороны бескрайная равнина. Дорога пролегла от горизонта до горизонта и почти огибала его убежище. Он тщательно установил прицел на ту точку, куда придется стрелять, и устроился поудобнее, чтоб быть свободным в движениях и дышать ровнее; когда пульс стал семьдесят в минуту, он решил, что готов и ему не потребуется больше одного выстрела. Спустя немного вдалеке начала вырисовываться фигура индейца верхом на муле. Тогда он лег ничком и укрепил ружье на краю скалы. Вглядевшись пристально в индейца, который приближался, он высчитал, что тому до смерти ехать двадцать минут. Он улыбнулся. Как легко уничтожить жизнь; а еще считается, что нужны были боги и катаклизмы, чтоб создать ее. Столько божественных усилий — и такой никчемный результат. Он засунул руки в перчатках меж колен, чтоб

пальцы были теплые и гибкие. Бог. В конечном счете бог — это только пространственное понятие. Сейчас, например, он мог бы подняться над самыми высокими деревьями и даже выше и с этой высоты увидеть нечто крошечное, пробирающееся с отчаянной решимостью по притихшей сельве, идущее вперед, а может, совсем и не вперед, а там где-то ручеек, который так нужен, а еще дальше — река и продолжение жизни, по крайней мере пока что. Он снял перчатки и черные очки, оперся щекой о приклад ружья и прицелился. Когда индеец возник на кресте прицела, он мягко спустил курок, и алькальд общины упал, словно сам бросился на землю, и остался недвижим, а мул его ступил еще пару раз и остановился. Тогда он в несколько прыжков спустился со своей скалы и приблизился к упавшему индейцу, чтоб добить его, если нужно, хотя был уверен, что убил его. Не переставая целиться, он дошел до трупа и поднял край пончо, упавший ему на лицо... Муравьи еще продолжали свою работу, но череп почти оголился. Индеец был уже скелетом. Значит, он описал круг, просто описал круг и вернулся к началу пути. Он с трудом стащил со спины ранец и сел, не сводя глаз с черепа. Что это означает? Во имя всей мерзости, какая есть на свете, что это означает, будь я проклят?

Он описал круг и мог описать еще один, и еще, и еще, и кружиться так, покуда достанет жизни. Второй круг может даже оказаться длиннее первого, третий — второго, и так без конца. Но ведь описать круг так же невозможно, как идти по прямой. Что же это означает? И означает ли что-нибудь?

Улыбка индейца была приглашением в клан мудрецов. Останься здесь и сиди тихо, ничего ты не выиграешь тем, что дойдешь до реки, если еще дойдешь. Так сладок безграничный покой сна без сновидений. Ты на привязи с тех самых пор, как впервые шевельнулся в темных водах матери. Ляг рядом со мною, усни, закрой глаза, отдохни и расслабься, и так ты откроешь пустынный, жесткий и безглазый смех, что будет твоим навечно и какого никто у тебя не отымет.

Но он быстро вскочил и стал срезать тонкие прямые сучья метра в два длиной. Когда их набралось, на его взгляд, довольно



для начала, он снова надел на спину ранец, воткнул в землю первый кол и углубился в чашу. Пройдя тридцать шагов, обернулся и воткнул второй кол, уверившись, что не потерял из виду первый. Потом прошел еще тридцать шагов и воткнул третий кол, на той же линии; а дальше четвертый, и пятый, и шестой. Скелет индейца научил его той истине, что человек, теряющий связь с началом, осужден все время описывать круги на своем пути; единственный способ найти правильный путь — это сохранять, не забывая, прямую связь с исходной точкой. Хуже всего, что и она, исходная точка, не забывает о нем. В какую минуту начнется преследование? Старуха сказала, что час пути по сельве — ничто для ее индейцев; но он опередил их уже на сорок восемь часов пути. А сколько будет сорок восемь раз ничто? Проклятье. Но индейцы тоже должны идти, как он. И спать, как он. А индейцы спят? Сельва, ответь, спят индейцы? Сельва, сельва, сельва. Всё здесь — сельва. На равнине земля была равниной; здесь она — сельва. А индейцы — тоже сельва? Он-то нет. Это он чувствовал и знал. Сельва не умирает от сельвы. Но однако, у сельвы есть реки. Он продолжал втыкать колья.

Главной задачей было дойти до реки. В этот раз он не делал привала в полдень. Несмотря на то что идти вперед было все труднее, он знал теперь, что идет вперед, и чувствовал в себе ту же силу, как при начале пути... Было так странно это ощущение свободы, ведь единственное, на что он осмелился — это выйти из ущелья, и теперь он шел, удивляясь и робея, по долине, на которую всегда смотрел сверху как на что-то запретное, хотя никто ему не запрещал спускаться туда. Он спрятал пустые ведра вблизи родника и впервые отважился выйти из-под докучной защиты ущелья. Долина была небольшая и сочная, затененная эвкалиптами и казуаринами, и витал над нею запах прелых листьев, совершенно ему незнакомый... Он пробирался вперед с осторожностью, как вдруг все пошло независимо от него. Он накололся на какие-то большие шипы, а когда пытался отцепить рубашку, зацепился рукавом. Пытаясь выпутаться, он отчаянно рванулся, почти побежал, споткнулся о какой-то корень и упал ничком. Тяжелый ранец придавил

его к земле, и у него вырвался стон. Бесясь на самого себя, он попытался подняться, но тяжкая ноша помешала. Тогда он решил остаться так на несколько минут, передохнуть и успокоиться. Его окружала тишина, но совсем не похожая на суровую тишину ущелья, от которой порой звон стоял в ушах. Внезапно он замер и, напрягшись всем телом, стал прислушиваться. Это был шум едва слышный, который смутно напомнил ему шум родника. Он затаил дыхание. Сомнений нет. Он лег на спину и спустил ремень ранца. Свободный от своего горба, он встал и пошел в направлении шума. Внезапно нога ступила в какую-то ямку, полную водой, и, пройдя еще десять метров, он увидел исток ручья, пробившегося из земли. Он стоял, зачарованный. Никогда не видал он столько воды. Он подошел к берегу, лег пластом на землю и, окунув руки в воду, смеялся долго и раскатисто. Задача была решена. Он не нуждался больше в кольях.

До темноты оставались немногие часы, но необходимо было добраться до реки сегодня же. Он шел теперь быстрее, потому что, несмотря на все извивы ручья, путь его обрел точное направление. Чем дальше, тем шире несся поток, и через два часа он брел уже по колено в воде, но не решался выйти из ручья, чтоб идти посуху. Порой песчаная отмель позволяла ему убыстрить шаг, а иногда сельва скупно расступалась и он мог выйти из воды и пройти немного по твердой земле; но это были всё короткие передышки, да и тут он боялся потерять из виду ручей. В одном месте он срезал себе толстую палку и теперь опирался на нее, ибо вода была ему уже по пояс и продвигаться было все труднее — к тому ж ручей вился теперь все более замысловатым узором. Но что же поде-лаешь? — и полноводье, и изгибы ручья были знаком того, что река должна быть где-то недалеко... Вода, однако, не прибывала, и глубже пояса он не погружался. Он шел осторожно, потому что не умел плавать и очень боялся угодить в какую-нибудь яму, но мало-помалу осмелел и пригнулся, а под конец сел на дно, так что вода была ему по самую шею. Никогда не погружался он в воду; воды всегда было мало, и ее берегли, как драгоценность, словно планета высыхала и на каждую

семью полагалось только два ведра воды в день. А это водное богатство, чье оно? Как понять, что на свете столько воды, а ему доставалась только пара кружек из грязного ведра? И судя по тому, как хорошо было в воде его маленькому голому телу, вода, наверно, полезна для человека; она не то чтоб удовлетворяла какую-то насущную потребность, но ласкала широким и свежим прикосновением, которое разглаживало ему кожу и расширяло все его существо за пределы его тела. И теперь он осознал по-новому все, что его окружало... Смутные шорохи сельвы подступали со всех сторон, и темнота ночи была уже зримой, но все смягчилось как-то, хоть и горестно, словно вдруг прониклось благостью, и предметом этой благости был он.

Незадолго до того, как тьма ступила окончательно, он услышал шум, громкий и непрерывный. Это была река. Быть может, небольшая, но река. Он продолжал идти вперед. Лес становился гуще, даже над ручьем, который продолжал чертить все более мелкие узоры, бессмысленные теперь, когда река была уже так близко. Скучный свет, еще задержавшийся, все слабел, и под конец остался только слабый отблеск воды. Иногда он прорубал путанину веток, чтоб разглядеть, не удаляется ли от ручья. Надо рисковать. Переждать ночь невозможно. Не поможет глаз, поможет слух. Шум был совсем близко. Он вышел из воды и пошел на шум, стремительно, прорубаясь сквозь заросли... Иногда он попадал в объятия какого-нибудь куста; вырывался из них и попадал в другие, еще тесней и жарче; но шум все приближался, пока издали, из-за холма, не показался поезд. Мальчик стоял на путях и быстро отпрыгнул в сторону, оказавшись между рельсами и маленьким оросительным каналом. Он никогда не видел поезда. Спускаясь в ущелье, он каждый день слышал долгий гудок, который медленно растворялся в воздухе, и ему объяснили, что это поезд; и вот теперь он вдруг очутился между этой грохочущей массой, заставлявшей дрожать землю, и водою, которая в невиданном количестве бежала в том же направлении. Когда это огромное и гудящее промчалось, оставив его оледеневшим от ужаса, человек, стоящий на крыше

последнего вагона, помахал ему рукой и крикнул что-то, что он не расслышал; но он был слишком испуган, чтоб ответить на приветствие, и молча проводил глазами поезд, пока тот не скрылся за далью. Куда бежали они, поезд и вода? Он устремился по берегу канала, пока не упал, весь дрожа, упершись коленями в песок... Вот она, река. Какой-то причудливый свет над нею позволял различить белую пену волн. Это была мелководная река, и по ней можно было дойти до Уальяги... Он собрал все свое мужество и, не сдерживая бега, прыгнул в воду. Погрузился с головой, но ноги коснулись дна, и, выпрямившись, он остановился, по пояс в воде. Тогда он уцепился за ветки кустов и лег на воду; он хотел научиться держаться на поверхности... Прохладная вода освежила его и постепенно прогнала усталость и боль. Долго лежал он так, позволяя волнам пробегать по его телу. Иногда он окунал голову, открывал рот, и вода вливалась безо всяких усилий с его стороны. Пить было легко. Вообще стало легко. Сельва была побеждена. Ему захотелось спать. А если уснуть здесь, на песке? Индейцы очень далеко.

День за днем сражался он один на один с сельвой, не найдя союзников. День за днем сражался он один на один с самим собой. Сейчас стояла ночь и воздух был тепел. Он вышел из воды, лег нагишом на песок и завернулся в свой пончо. И отдал свое тело покою, словно подставил чьей-то мягкой руке. Но мало-помалу рука становилась все тяжелее и властнее, и он заснул глубоким сном.

Он проснулся, когда было еще темно, съел последний кусок мяса и пустился в путь вниз по реке. Боль в спине была почти приятна. Он шел порой по песку какой-нибудь отмели, порой по каменистому дну, опираясь на палку, чтоб выдержать натиск течения. Но теперь он продвигался гораздо быстрее, чем раньше.

К полудню он достиг берега Уальяги. Не теряя ни мгновенья, сбросил ранец и пошел по широкому пляжу, начинавшемуся у слияния двух рек. Через несколько минут он нашел, что искал,— небольшую рощицу бальзовых деревьев. Он свалил четыре, разрубил на части и стащил пятиметровые бревна

к самой воде. Кора, нарезанная узкими полосами, послужила ему вместо бечевы, и, потрудившись часа два, он соорудил плот, идеальный для короткого пути, в какой намеревался пуститься... Кое-как держится на поверхности. Даже неплохо. Когда-то это была, видно, дверь, но теперь это был лишь прямоугольный кусок гнилого дерева, весь в царапинах и выбоинах. Но ничего, на поверхности держится. Он осторожно лег на эту дверь, качнулся, удерживая равновесие, и отпустил ветви. Мягкое течение канала повлекло его к центру реки, а он отталкивался бамбуковой палкой, которую только что срезал... И когда он уже выплывал на стрежень, длинная черная стрела вонзилась в одно из бревен плота.

И сразу же плот вошел в быстрые струи, и его пришлось направлять, так что оглянуться не было возможности. Очевидно, преследование началось накануне — иначе остается думать, что индейцы летают. Однако индейцы не всесильны да и не мудры. Только что, например, они дали промах. Их стрела не попала в цель, потому, может быть, что расстояние слишком велико. Но ведь и пустили ее без уверенности, что она попадет в цель. Так что промах двойной.

Следя ход своего плота, он подумал о проблеме, которая возникла перед ним или, вернее, за его спиной. Уйти по реке не удастся; индейцы настигнут его. С другой стороны, нельзя покинуть реку; снова углубиться в сельву было бы величайшей глупостью; спрятаться и пропустить их мимо — тоже. Надо решать бесповоротно и сразу, ибо скоро настанет ночь и тогда поневоле придется задержаться. А что произойдет ночью? Индейцы — это сельва. Быть может, они — и ночь?

Он вдруг понял, что надо делать. Подождать, пока доплывет до места реки, удобного для его замысла: какой-нибудь извилины, где бы плот выбросило на берег. Через полчаса он достиг желаемого; река здесь делилась на два рукава, и по одному из них вода обильно и стремительно неслась к склоненным над нею деревьям. Он принялся грести изо всех сил, и ему удалось пристать, где задумал. Он оттащил плот немного в сторону, спрятал под ветками и пошел посуху к тому месту, где волна ударяла в берег с особой силой. Он ожидал, что индейцы захотят восполь-

зоваться быстротой течения и тогда приблизятся к его убежищу... Но к счастью, они его не увидели. Это были люди крепкие и бронзовые, и речь их была медлительна и односложна. Они проследовали мимо, чуть не задев его, но не заметили его плота, полускрытого за кустарником. Мальчик дрожал. Быть может, наказаньем за его бегство окажется смерть. Но индейцы проследовали мимо и продолжали свой путь в ту же сторону, куда уходили поезд и вода. Все уходило туда... И тут он увидел их. Они приближались на маленьком плоту, гребя с бешеной быстротой. Их было двое. Проклятая старуха верила в своих индейцев.

Все произошло, как он и предвидел. Индейцы рассчитали, что их вынесет поближе к берегу, чтоб не терять времени. Повидимому, они хотели поравняться с ним раньше, чем стемнеет. Это им удалось. Когда они оказались на расстоянии десяти метров, он выстрелил. Два выстрела прогремели почти одновременно, и индейцы, подавшись вперед, упали, но не свалились в воду. Уже без пути и цели, плот ткнулся в берег, закрутился, проплыл немного и наконец остановился, запутавшись в зелени. Сомневаться в меткости выстрелов не приходилось. Как только индейцы упали, он двинулся вдоль по берегу, пока не достиг того места, где река виделась прямо и далёко, и там и остался, укрывшись за деревом... Прошло, однако, много времени, а они не вернулись больше. Тогда он отпустил куст, за который держался, и вода канала снова мягко повлекла его вниз по течению, куда уходило все и куда он тоже хотел уйти, чтоб забыть ущелье, ведра, суровую печальность холмов. Было почти темно, когда он остановился. Причалил плот к белому песку и лег, положив голову на большой камень. Вытянулся, весь напрягшись, а потом стал постепенно расслабляться, пока не ощутил всем телом мягкость песка и теплоту воздуха. Торопиться было уже ни к чему. Там, в неохватной дали, над деревьями, проступавшими черным силуэтом, небо тоже уже чернело. Река текла теперь успокоенно, почти бесшумно. И вся богатырская сила сельвы объялась теперь покоем, и покой этот был не схож ни с каким иным покоем, ибо лишал все остальное значения и смысла. Здесь, в этом глухом углу, жила Истина и возникал ре-

лигиозный восторг перед нею. Ему захотелось, вплотную со всем этим покоем, который теперь принадлежал ему, чтоб не менялось ничего, чтоб никакая сила, внешняя или внутренняя, не принудила его уйти отсюда, чтоб он смог удержать навсегда то, что узнал теперь, чтоб забвенье никогда больше не направляло его шаги. И в эту минуту он увидел, что по реке приближается плот. Но не почувствовал никакого страха... Впервые ночная тьма не давила его своей мрачной тяжестью, но опускалась как мирная тишина на его сомкнутые веки. И в это безмятежное мгновенье он понял, что воды канала открыли перед ним широкий путь, по которому можно уйти навсегда от неизлечимой безотрадности ущелья... Он перевернулся на песке, распластавшись вниз лицом, и неторопливо вытащил револьвер. Уже ничего нельзя было различить, но черное пятно плота все приближалось. Он прицелился и только сейчас понял, что это был плот с мертвыми индейцами. Он вскочил на ноги и остался недвижим, весь напрягшись, стараясь не поддаться таинственным чарам изначального ужаса. Была так отлична эта ночь у воды от всегда одинаковых ночей в ущелье. Его худое мальчишеское тело содрогнулось от холода, но он не шелохнулся, пока мимо проплывал плот мертвых индейцев, словно скульптурная композиция, некогда забытая в глуши вымершей расой, чтоб отныне глядеть на течение жизни, не замечая его.

Всю ночь он не мог уснуть, то голод мешал, то тучи mosкитов, упорно ищущих любой лазейки, чтоб под защитой пончо высосать у него капельку крови. Так проходили часы. Только на заре он забылся тяжелым сном.

Его разбудило солнце. Это было веселое солнце, которое играло на самых высоких ветках и совсем не походило на изнуряющее солнце ущелья, утрами возвещавшее безнадежное однообразие дней. Старая дверь все еще держалась у берега канала, и комок его платья лежал возле него... Он сел на плоту и поплыл вниз по течению. Река текла медлительно, как просторное время сельвы. Что думает о нем сельва? Видит ли его? Быть может, сельва и не зовет себя сельвой, а есть у нее другое, причудливое имя и произносится оно на особый, причудливый лад?

Так миновал день, и солнце давно уже закатилось за гори-

зонт, когда он увидел невдалеке столбик дыма. Он слишком устал и ослаб, чтоб обрадоваться. К тому ж он ожидал этого. Пропел петух, пролаяла собака. Чей-то дом.

Вынужденная неподвижность во время пути была уже невыносима, и руки у него зудели от нетерпения. Он стал готовиться к высадке. Отвязал ранец, взвалил его на спину и взял палку, чтоб подтолкнуть плот к берегу; но река была слишком глубока — не упрешься, и он принялся грести руками. В это мгновение плот ударился углом о полузатопленный ствол, и он потерял равновесие и упал в воду. Река сомкнулась над ним. Плот медленно поплыл дальше.

Он не потерял присутствия духа. Ударившись о дно, он скорчился, уперся ногами и оттолкнулся. Ему удалось высунуть голову из воды, но он погрузился снова. Тогда он попытался сбросить ранец, но тут же понял, что это невозможно. Он снова присел и оттолкнулся, но на сей раз ему не удалось высунуть голову. Тогда, в отчаянии, он открыл ранец, чтоб проклятое золото вышло и он смог подняться на поверхность. И в этот момент он ощутил, как что-то вспыхнуло, ярко и широко. Солнце отражалось в воде и хлестало его по глазам. Он чувствовал, что плывет в волнах света и что вне этого света нет ничего. Ветхая дверь медленно уносила его туда, куда уходило все, дальше и дальше от ущелья, и никакое воспоминание не могло заставить его отвести глаза от солнца, отражавшегося в воде. Страх остался позади, навсегда. Теперь-то он знал, что ничто и никто уже не остановит его и не принудит вернуться.

Труп остался недвижим на дне реки, удерживаемый тяжелым ранцем и какой-то затопленной веткой, мешающей течению унести его.

Так оставался он долгое время.

А пока что мало-помалу золото просеивалось из ранца. То был процесс очень медленный, но непрерывный. В конце концов тело освободилось от груза, скользнуло по затопленной ветке и поплыло вниз по течению. Ранец был почти уже пуст. Крупинки золота еще выскальзывали из него некоторое время, пока не осталось в нем ни единой.

Труп всплыл на поверхность, и на какой-то излучине река,



кипевшая малым водоворотом у берега, выбросила его на песок вверх лицом.

Стояла ночь.

Открытые глаза мертвеца были обращены к звездам.

## Стремнина

Пятнадцать лет старик и девушка прожили одни.

Когда умерла мать, он был пятидесятилетний мужчина, а она — двухлетнее дитя. Одиночество и сельва постепенно превратили их в старца пугающего вида и странное безмолвное существо.

Они жили у самой реки.

Плотогоны, проплывая мимо, видели сквозь листву островерхую крышу домика и порою слышали лай собак, пенье петухов или удары топора.

Старик работал по целым дням.

Когда он впервые появился здесь, то и сам не знал толком, чего искал, и потому, добившись малого, подумал, что это и была его мечта, и окунулся в работу. Вначале искал золото, потом добывал каучук и под конец приобрел кусочек земли. Завершая этот путь, он понял, что ему нужна жена, и, встретив женщину, решил, что это Она, и у них родилась дочь.

Плотогоны видали иногда девушку.

Она сидела неподвижно, наблюдая реку с вершины скалы. Они окликали ее, но она, казалось, не слышала. Тогда они сосредотачивались на своем плаванье, потому что на сто метров ниже начиналось самое опасное место. Там река протекала, схваченная меж двух высоких стен, заставляющих ее втискиваться, с ревом и гневом, в темный проход. Вода бурлила, клубилась, пенилась, билась о камень, а потом мало-помалу успокаивалась и тихо змеилась дальше сквозь сельву.

Не один плот затонул в этой стремнине.

Плотогоны, едва войдя в стремительное течение, укрепляли канаты и направляли свой плот к середине реки; а там уж пускали по воле волн, изо всех сил цепляясь за самые крепкие бревна. Если плот был направлен точно, им удавалось миновать во-

докрут; если же нет, они исчезали в глубине беззвучно, ибо самые громкие крики поглощались ревом стремнины.

Иногда плотогоны приставали к берегу против дома, где жили старик и девушка.

Они обменивали некоторые товары на то, что давала старику его маленькая ферма. Пули, динамитные шашки для рыбной ловли, платье, инструмент, сахар или соль — в обмен на кофе, апельсины, свиней или несколько граммов золота. Сделка совершалась быстро и без лишних слов. Старик был крут и резок. Никогда никого не пригласил в дом, и первые же попытки сломить эту угрюмую замкнутость наткнулась на каменную стену. Под конец вся округа примирилась с присутствием этих двух людей, с их одиночеством, с грубостью старика и с мимолетным бередящим виденьем застывшей над рекою девушки.

Дочь унаследовала характер отца, добавив к нему жреческую застылость матери-индеанки.

Она была худая и бронзовая. Глаза, большие и черные, глядели всегда вдаль. Губы были толсты и, казалось, наглухо сомкнуты. Волоса были длинные и лежали ровно. Руки большие и огрубелые. Она помогала старику в работе; они ели за одним столом и спали в одной комнате. Мысли ее были скудны и неясны. Животная ее жизнь была слишком напряженной — в ней не было места думам.

Единственное, что, кроме отца, для нее существовало, была река.

Река жила, была неутомима и необъятна и принадлежала ей. Она садилась возле и смотрела на бег реки с тайной нежностью, словно владела ею одна. Хотя знала лишь отрезок ее пути. Вверх по течению река оканчивалась в тумане дальней извилины, из которого выплывали плоты, всегда медлительно и всегда неожиданно. Вниз по течению река умирала в грохочущем омуте стремнины. И все-таки чувство обладания рекой не сводилось у девушки к отрезку, знакомому ей. Она не стремилась узнать больше, но знала, что река — это не только то, что перед глазами, и что она принадлежит ей вся. И любила реку с той напряженной болью, с какой любят то, что нельзя ни постичь, ни объять.

Однажды вечером появился незнакомый мужчина.

Он не был плотогоном. С собой, кроме свертка платья, он ничего не вез и причалил как раз напротив дома. Он был массивный, светловолосый, с большими грубыми руками. Сила его особо ощущалась в плечах и шее. Он привязал свой маленький плот, вышел на берег и спокойным шагом направился к домику. Отец и дочь ужинали. Он сказал «здравствуйте» с нездешним выговором и объяснил, что замешкался в пути и не знает, как миновать быстрину, чтоб было безопаснее. Просил еды и крова. Старик раскрыл уже рот, чтоб ответить какой-нибудь стопудовой грубостью, когда вмешалась девушка и пригласила гостя войти. Старик схватил тарелку и вышел ворча. Гость сел за стол, и мужчина с женщиной поели в молчании.

Закончив, незнакомец резко поднялся и ушел.

Он долго стоял на своем плоту и вглядывался в реку. Уже многие месяцы скитался он так, ища золото. Мало нашел он на длинном своем пути, но надежда его была огромна, как пространство, которое еще предстояло преодолеть. И его твердая решимость продолжать путь одному еще укрепилась, наткнувшись на одинокий огонь мрачной девушки. Потому-то он искал убежища на своем плоту. Здесь легче было охладить жар, что начинал пробуждаться в нем где-то глубоко-глубоко. Он знал: малейшее колебание — и эта сила его сломит, более того, он станет весь лишь одна эта сила.

Но женщина пришла к реке и к мужчине.

Он увидел белое облачко, печально одинокое в тени ночи, и тогда тьма стала сияньем, и сила его словно сжалась в кулак. Преследование было коротким, грубым и немым. Никто ничего не сказал, и не было иного звука, кроме частого дыханья. Самка, как всегда, защищалась; но, как всегда, самец победил и вошел в нее, как река в тесное русло стремнины.

Человеческое робко проступило в них, и они обменялись несколькими словами:

- Уедем завтра.
- Да.
- Жду тебя на плоту.
- Как рассветет.

И разошлись: она — домой, он — покачиваться на волнах в усталом сне.

Но старик слышал все.

Он не мог видеть, да и ни к чему было: любовь достаточно слышать, а их короткие слова были окончательны. Он подождал. Молча. Долго. Бесконечно долго для того, что он задумал. Но он подождал. И когда нетерпение стало душить его, крадучись спустился к реке. Очень медленно отвязал одну бечеву, потом другую; и осторожно, с почти женской мягкостью, подтолкнул плот к середине реки. Ни малейший толчок не смутил покоя спящего.

Через несколько мгновений тьма поглотила его.

## Андрате, приходский поп

— Попа убивают, Андрате.

Я подскочил к окну и увидел индейца посередь пустынной улицы верхом на старом и полумертвом от голода муле.

— Кто убивает попа?

— Убивают, хозяин. Там, наверху, в приходе вот.

— Да кто, чертова мать, его убивает?

— Приход, значит, хозяин.

Пока сбегал по лестнице на первый этаж Управы, я застегнул на себе пояс с револьвером и двадцатью пулями, набросил кожаную куртку, более походившую на тюфяк с рукавами, и надвинул теплый шлем на самые уши. Холодище там, наверху, такой лютый, что мать родную проклянешь, а я не хотел схватить воспаление легких — пусть другие на попа работают, тут как раз кстати наша поговорка. Как только очутился на улице, я увидал, что из-за угла бегом бежит алькальд.

— Андрате убивают.

Я сказал, что уж знаю, и мы вместе пустились бегом к загону Илоксио, чтоб взять лошадей, мулов, вернее. По дороге к нам пристал доктор — и ах, и ох, и убивают попа Андрате, и когда мы кончили седлать мулов, нас был уже целый отряд — десять человек, вооруженных до зубов. Индеец из общины, который

принес весть, держался особняком, недвижимый, словно из камня, и ни слова. Поганая тварь.

Мы поскакали. Не так чтоб во весь опор, потому что община лежала отсюда верст за пять с гаком, и если посреди дороги падут наши мулы... А индеец ехал поодаль, не утруждая ни своего мула, ни себя. Через полчаса он остался где-то позади, и мы потеряли его из виду.

Словами мы обменивались только необходимыми. Убивают Андраде, и главное — прибыть на место как можно раньше. Остальное — пустая потеря времени.

Когда я приехал сюда губернатором, все считали, да и до сих пор считают, что это слишком высокий для меня пост; а у нас в Лиме, наоборот, все мне сочувствовали, полагая, что это пост слишком для меня низкий. А он и не высокий и не низкий, а единственный, за который я мог уцепиться, когда, как у нас говорят, картошка уже подгорала и я не знал куда податься. А то ведь как: живешь себе в столице, жульничаешь понемножку, а потом вдруг оказывается, что ты или стал миллионером и сам черт тебе не брат, или тебя уж не пускают в приличный ресторан, как бы шикарно ты ни выглядел в своем выходном и единственном костюме, и все великосветские гуляки начинают смотреть на тебя так, что, мол, не пора ли вам, сеньор, к такой-то матери.

Здесь жалованье, конечно, не ах, да к тому ж это край света, но кто ж пойдет в губернаторы из-за жалованья! Так что, в общем, порядок; и я уже завязал кой-какие выгодные связи благодаря тому в основном, что у меня вид простака, но я знаю, чего хочу и как этого добиться.

Так я открыл, случаем, что политика — вещь прибыльная, и хоть я сунулся в нее не спросясь броду, но все же сунулся. Это неважно, что я начал с малого, с очень даже малого, признаться, потому что принять должность губернатора в таком захолустье означает вообще-то сесть в лужу, ту самую, в какую попадают многие на своем пути с горки вниз. Но отступать было некуда — я уже стал компаньоном международной фирмы, порешившей заняться управлением народами.

Пока что жратва была ничего, событий особых не происхо-

дило, и только вот с этим поселком Пукио, с индейской общиной этой, дело все больше осложнялось. А вообще-то здесь тебя страх как уважали, с виду, во всяком случае. По воскресеньям мы с алькальдом, попом и лекарем садились с утра за карты, а иной раз так вдруг попадется какая-нибудь аппетитная заднюшка, для разнообразия в жизни. Ну, деньга деньгу кует, так что годика через два я, пожалуй, буду достаточно подкован, чтоб попробовать взобраться на кресло префекта или начальника полиции, но это еще далеко, разумеется, по времени, да и по местности будет не близко где-нибудь. Но попытка — не пытка. Только действовать тут нужно исподтишка, а пока что стараться, чтоб все было тихо и общественный порядок был, как говорится, в порядке. К счастью, журналистов сюда не заманишь никакими заднюшками.

Только бы случай с Андраде не превратился в четыре колонки о приходском священнике, подвергшемся нападению прихода, хотя, по совести сказать, негодяй вполне заслужил и нападение и колонки. Потому что был этот Андраде бравый детина, охальник, каких мало,— ни одной юбки не пропускал, но хитер и ловок — дальше некуда. Скорей подумашь, что индеец, принесший весть, ошибся и это Андраде один набросился на целую общину. От этого попаика всего ожидать можно.

Теперь надо покрепче держаться в седле и чтоб на меня горная болезнь не напала, когда на открытое место выедем, а то мои спутники станут помирать со смеху, и где тогда мой авторитет?

Совершенно непонятно, почему Андраде пошел в попы. А я почему в губернаторы пошел? Откровенно сказать, тоже мало кому понятно, и, может, причина одна и та же. Но чтоб типичный испанец приехал к нам из Испании, поступил в духовную семинарию, стал священником и типичным перуанцем — и все для того лишь, чтоб угодить в эту дыру, где, как у нас говорят, черт свой пончо потерял, это уж, простите, только черт и поймет. Ибо я, в конце концов, недурно устроился, вроде бы ушел на зимние квартиры, пока у правительства пройдет охота разглагольствовать, и тогда оно попытается свести концы с концами и поймет, что надо торопиться, ибо милости свыше недолго

вызывают восторги в доме Писарро\*. Но Андраде пришлось немало попотеть и попортить воздух в семинарии, потому что там на фуфу не выедешь, и он, говорят, занимался на совесть, день и ночь, и даже порой впадал в экстаз, и всегда готов был выполнять самые грязные работы безотказно. И все это, чтоб в результате угодить в нашу дыру, дуться в карты, тискать индеанок и копить деньги — в этом, правда, он преуспел больше меня.

Странный тип, этот Андраде. На всех ему наплевать с высокого этажа, будь ты хоть папа римский, но рядом с ним чувствуешь себя уверенно. Знаешь, что если ему придется выбирать между своим благополучием или даже просто прихотью и твоей жизнью, так он тебя еще подтолкнет, давай, мол, падай, не задерживайся, — и все же чувствуешь себя уверенно, потому что в нем, как в природе, какая-то бурная сила есть, и, едва он заговорит, все вокруг стушевывается и слова других звучат жалко, потому что основное — иметь руки, ноги и еще кое-что и быть всегда начеку. Так что, когда говорит Андраде, лучше помалкивать, он — царь в нашем царстве, и кто ему не по нраву, получит один гостинец — пулю в живот, и прощай белый свет!

Верный прицел у попа. Как-то, помню, в воскресенье в приходской церквушке он две обедни подряд отслужил, причастившись водкой, за неимением вина. Ну а с пьяным Андраде шутки плохи. Схватил трех индейцев за холку, поставил их рядом на площади как раз напротив церкви, велел открыть рот и сунул каждому в зубы по просвире. И тремя выстрелами с двадцати шагов выбил у них просвиры прежде, чем те облюнились.

— Свинцом я вас буду причащать, поганцы.

Трое индейцев задрожали и побежали, а индеаночки, видевшие это, тоже дрожали, но не от страха, а от мысли, что совсем не плохо повалиться с этим испанским попиком за какой-нибудь оградой — и порода у него здоровая, если что, да и всё с благословения божия: какой ни есть, а поп, наместник бога,

\* Писарро Франсиско (1475—1541) — испанский конкистадор, завоеватель Перу, уничтоживший государство инков; основал город Лиму.

божьем именем грехи отпускает, телом его и кровью причащает, так почему не причаститься так — интересней и больше на правду похоже.

Главной тайной Андраде была смерть Сирило. Они были большими друзьями, но однажды Сирило чем-то здорово насолил попу, и Андраде поклялся отомстить ему. Так и не дознались толком, в чем там было дело, но случилось что-то серьезное, из-за чего погибла девчонка одна, бокастая такая, поп ею бредил. И вот как-то в субботу, под вечер, когда мы четверо играли, как обычно, в ломбер, Андраде поднялся, будто в уборную, удрал через окно, вскочил на лошадь, поскакал бешеным галопом к подворью Сирило, уложил его одним выстрелом и вернулся за карточный стол. Когда сидишь за картами, ничего кругом не замечаешь, и мы поклясться могли, все трое, что поп играл с нами весь вечер. Он на это и рассчитывал. Он знал что к чему, и все было ему нипочем. А о случае с Сирило сам мне потом рассказал, с кроткой такой улыбочкой. Христосик!

А теперь, похоже, и его час пробил. Я не очень понял, как это его убивают. Хотят убить, или убили уж, или прямо сейчас вот убивают. Попа убивают, хозяин... Поганый индеец. Что за слова? Мешанина какая-то: и зловеще, и глупо. Не по-людски. Как насекомые. Убивают, и все тут — это бесчувственней и жесточе любого задуманного преступления. И ведь целой общиной убивают. Почему этот индеец решил известить нас? А сейчас он отстал, так что и спросить нельзя. И поди угадай, что они творят над попом в течение всех этих часов. Известно, что индейцы — хуже крыс по хитрости и коварству; но как это можно убивать человека пять или шесть часов подряд — этого я не мог себе представить.

Мы были уже на высоте четырех тысяч метров, на голой вершине, а я еще не чувствовал ни малейшего недомогания; но это ничего не значило, так как горная болезнь набрасывалась на меня при спуске, что хуже, ибо иной раз она тебя не отпускает до самого моря, и от головокружения, от тошноты, от того, что у тебя голова раскалывается и желудок распирает, а отойти некуда, у тебя возникает одно желание — умереть, и ну его к дьяволу этого попа и вообще все на свете. И вот у меня начался



приступ, и я проглотил три таблетки аспирина и стал дышать глубоко, но не часто, а то будет второй приступ и тут уж морда у тебя одеревенеет, и слюна потечет, и ты станешь похожим на блаженного, который очень торопится попасть на небо, как блаженному и полагается.

Это очень трудно и нудно — быть губернатором в горном округе Перу. Бывает хуже, но редко. И к тому ж еще вся эта чепуха с приемами, речами, ликвидацией неграмотности, защитой прав коренного населения — чушь, которая претит всем, а индейцу и подавно, потому что понятия у него теперь уж не больше, чем у ламы, а станешь его развивать, так он только плюнет на все и сбежит в столицу, чтоб никогда больше не возвратиться в родовое гнездо своих предков-инков.

Потому-то мне и нравился Андраде. Поп не признавал обвиняков и, как у нас говорят, называл хлеб хлебом, а вино вином, вернее, хлеб — хлебом, а индейца — дерьмом. Нам приходилось ломать комедию, ходить в пиджаке и при галстукке, присутствовать на открытии какой-нибудь школки, петь мы свободный народ и произносить торжественные речи с приличной случаю харей. Так надо было, потому что индеец — производитель; производит он, правда, для других, но все-таки. Поп, однако, находил, что его испанские предки в железной броне были дальновиднее, чем Сан-Мартин и Боливар\* с этим их театром про свободу и про все люди равны. Андраде выпаливал в лоб каждому, что индейцы — превосходный рабочий скот, дешевле волов. К тому ж это прекрасно знали еще древние инки, которым были незнакомы ни вол, ни лошадь, ни мул, ни осел, ни колесо, ни рычаг и приходилось выходить из положения при помощи лам и индейцев. А я, видите ли, должен школы откры-

\* Сан-Мартин Хосе (1778—1850) — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке (1810—1826); поддерживаемый восстанием перуанских патриотов, освободил в 1821 г. территорию Перу от испанского господства и возглавил первое правительство Перу (1821—1822), проведя важные политические реформы.

Боливар Симон, по прозвищу Освободитель (1783—1830) — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Южной Америке (1810—1826). В 1823 г. армия Боливара вошла в Лиму, что фактически положило конец испанскому господству в Южной Америке.

вать. Результат, в общем, получался один и тот же. Как хотите, но поп мне по-своему помогал с индейцами. Крестил их, потому что они недурно платили, и провожал на тот свет с благословениями и латынью все потому же; но он это выполнял, и в то же время держал их в постоянном страхе, и угощал их палками, а то и пулями, действуя именем божьим, дабы страшились бога, а заодно и попа, и рассказывал об аде, от коего может уберечь их, и кое-что показывал на деле, чтоб привыкали уже на этом свете к тому, чего следует страшиться на том. Так он драл с них за спасение и за гибель, и они были золотой россыпью, эти индейцы, о чем давно уже догадалась родина-мать или мачеха, и о чем хорошо помнит родина-сирота — и так оно и будет, покуда все не провалится в тартарары.

А пока что Андраде распутничал, преследовал индеаночек, девчонок и выдавших виды, неважно, и развлекался с ними подобно царю Соломону, только без Песни Песней. А чуть намекнешь про эти его дела, так он, если в настроении, такую речугу тебе в ответ произнесет!

— Пускай эти ватиканские старикашки заткнутся. Кого они думают обмануть? Нет лучше упражнения для ума и духа, чем с благословенья божия повалить какую-нибудь бабу, и когда это поймут в Риме, кончится эта возня с обетом безбрачия, который только для вырождков годится. Чтоб я надел сутану? Никогда. Мужчина должен ходить в брюках. Пусть сами утираются своими юбками!

И вот мы здесь, и перед нами лежит поселок.

Вмиг прошла у меня горная болезнь. Положение было серьезно, и для усугубления тревоги наш вестник-индеец ждал нас за скалой на повороте дороги. Как он оказался тут раньше нас?

— Он еще не умер, хозяин.

Добраться до этого Пукио можно было только по горам. Внизу, уютно укрывшийся в долине, поселок казался игрушечным. Спуск был долгий, потому что дорога все время петляла и приходилось предоставлять мулам полную свободу, иначе они могли споткнуться на всем скаку.

По мере того как мы приближались, игрушечный поселок рос

и рос, покуда не перестал быть игрушечным. Центральная улочка, рассеченная бегущим вдоль нее ручейком, была попросту продолжением дороги, по которой мы двигались. По обе стороны стояли глинобитные, с черепичной крышей домики — желтые с красным. Дорога бежала дальше, за поселок, но, прежде чем покинуть его, расширялась, превращаясь в маленькую главную площадь с ратушей, церковью, школой и грязной харчевней. И вот в центре этой площади община в полном составе описывала круг за кругом, беззвучно и очень медленно, словно в торжественной процессии. Но это не была процессия.

Как только кончили спуск, мы поскакали во весь опор, потому что все чувствовали, что если еще оставалось время, то его оставалось очень мало. Но нам пришлось резко остановиться у въезда в поселок, потому что там нас ждал алькальд, пеший, в своем темном пончо и со своим всегдашним непроницаемым лицом.

— Пускай губернатор пойдет со мной, один.

Важничает сволочь-индеец, но сейчас не время выяснять отношения, будет еще возможность дать ему попробовать, как у нас говорят, пирога с дерьмом. Я сошел с мула, сказал моим спутникам, чтоб ждали, и зашагал рядом с алькальдом, чувствуя себя губернатором по всем статьям.

Пока мы приближались к этому хороводу, кружащемуся как в замедленной съемке, алькальд рассказал мне, что произошло, без предисловий приступив к сути дела. Поп насильничал его младшую дочку и заперся с нею в церкви. Девчушка была любимицей алькальда. Ей было всего четырнадцать лет, но она и пикнуть побоялась. Забили тревогу две старухи индейки, которые видели, как поп с девочкой входили в церковь и непохоже, чтоб помолиться.

Индейцы стали собираться кучками возле запертой церковной двери и не знали, что им делать, пока алькальд, которого уже известили, не подошел вместе со своими советниками. Впрочем, и его приход ничего не изменил, и все стояли в некотором замешательстве и нерешительно топтались на месте, кроме алькальда, который не хотел стерпеть, что поп испоганил его

любимую дочку. Но и его как-то смущало, что речь идет о священнике и все произошло в церкви, так что, может быть, не так уж страшно. Однако он стал стучать в дверь, изо всей силы и со всем авторитетом, и Андраде послал его к такой-то матери — его и всю общину с ним вместе. Так все продолжалось и не обошлось даже без нескольких робких улыбок, как вдруг один из братьев поруганной девушки, молодой крепыш, мечтающий удрать в столицу, вскарабкался по стене, пытаясь пролезть в окошко, но был сбит пулей в лоб и упал к ногам толпы, не успев даже вскрикнуть. Выстрел попа взбудоражил индейцев, и они решили дело по-своему. В пять минут выбили дверь, хлынули в церковь и схватили попа, который, пока его тащили, уложил на месте еще одного индейца и ранил двоих... Ему связали руки и ноги, выволокли на площадь и чинили расправу без суда и следствия.

По мере того как мы приближались к маленькой площади, мое губернаторское чванство остывало во мне вместе с отвагой, пока в конце концов я снова не почувствовал симптомов горной болезни при виде происходящего передо мною ужаса, который я начал неясно понимать, а затем понял яснее и еще яснее, а потом усомнился, но через секунду уж не сомневался, и все предстало неумолимо, как горный поток, ломающий скалы, который не устремляется ни на что и губит все — и некому жаловаться. И я внезапно отступил в забытую эпоху сильного человека, еще не успевшего погубить себя силою оружия и атома; но то, что я видел сейчас, было сильнее всего другого, потому что было соприкосновением с источником, откуда берет начало все человеческое в человечестве, без греха и отпущения, без лжи и правды, без добра и зла.

Четверо мужчин, жующих коку, тянули за две веревки, привязанные к ногам Андраде, и медленно волочили его по земле вокруг маленькой площади. Восьмерка женщин, окружая попа, двигалась мелкими шажками, и каждая наносила мерные удары по телу и голове его концом длинной и тяжелой палки. Удары были не слишком сильные и не слишком частые, но, накапливаясь час за часом, уже превратили то, что посредине, в бесформенную массу, мутно-красную, без криков и стонов, где

жизнь была загнана в последний закуток и для которой каждый слабый удар был, быть может, и сейчас еще невыносимой мукой, все повторяющейся и повторяющейся без надежды, что когда-нибудь это прекратится. Остальные индейки окружали восьмерку женщин, готовые прийти на смену, как только те устанут. И вся община медленно кружилась по площади, теперь уже безмолвной, но вначале оглашаемой криками и проклятиями Андраде, которые, наверно, превращались в стоны боли и ужаса по мере того, как он все больше сознавал, что это конец, что удары будут длиться вечно, без покаянья и отпущенья, и что не будет больше ни сна, ни яви, ни голода и сытости, ни девчонок, ни вчера, ни завтра.

- Он уже мертв.
- Думаю, да, хозяин.
- Хватит тогда.

Алькальд отдал это приказание почти шепотом, и процессия разом остановилась. Я отступил в переулок и сделал знак остальным приблизиться. Не позаботясь развязать попа, индейцы и индейки расходились своим обычным ровным шагом, и, когда мои спутники подошли, маленькая площадь была пустынная, и только то, что осталось от Андраде, лежало посреди нее, да алькальд стоял возле, в некотором отдалении, воздавая последние почести как глава общины.

Мы приблизились к окровавленной массе. Никто ничего у меня не спросил, и я не произнес ни слова. Объяснения — после. Сейчас надо было уходить отсюда как можно скорее и унести то, что было когда-то попом Андраде.

Мы развязывали его, когда мне показалось, что что-то дрогнуло там, где было прежде лицо. Подавляя отвращение, я наклонился, сколько мог, с усилием, словно развязывал тугой узел, и из глубины кровавой ямы донесся пугающий хрип, похожий на бульканье горячей патоки. Я приблизил ухо вплотную к месту, где когда-то был рот, и, прежде чем закрыть искрошенное лицо моим платком, расслышал то, что говорил Андраде с порога смерти:

- Поганые индейцы.

## Зеленая стена

Электрическое верезжанье лесных сверчков сделалось резче и обрело новый оттенок. Вслед за тем квакша-кузнец стала полнить грохотом чашу. И наконец из дальнего далёка послышались первые грома. Дождь начался в два часа пополуночи. Поначалу шум как бы прорастал из земли, но вскоре уже обволакивал дом, обрушиваясь на крышу.

Мужчина проснулся, открыл глаза и лежал, вглядываясь в темноту и вслушиваясь в дождь. Дождь был сплошной и сильный. Завтра не придется выжигать лес. Досадно. Дождь помешал всему. И в такую пору, когда...

Целый месяц он потратил на то, чтоб подготовить для выжега два гектара дикого леса. С батраками было не сладить. Приходили и уходили. В конце концов ему пришлось самому махать топором. Каторжный труд. Но зато он остался доволен. Ни одного пропущенного ствола, ни одного торчащего пня, ни одного вороха веток. Все пригнуто к земле, сохнет на жарком летнем солнце. Да видно перестарались они с солнцем — земля опять зазеленела. Еще недели две — и вновь придется рубить. А тут еще этот ливень; пожалуй, на несколько недель заладит...

Он вздохнул. Что поделаешь? Нужно терпенье.

Но терпенье что-то медлило. Тысяча чертей! Нет выхода. Потому что дождь вот теперь, в августе, — это уж такое невезенье... Он закрыл глаза и постарался уснуть, но грохот дождя по пальмовой крыше был оглушителен.

Хуже всего, что было совершенно необходимо засеять эти два гектара маисом, чтоб заплатить самые срочные долги... если, конечно, цены на маис не упадут. Все сплошная лотерея. При необъяснимых превратностях местного хозяйствования случалось так, что маис вдруг подымался в цене, и все бросались засеивать им поля; потом снимался богатый урожай, цена сразу падала, и тут уж никого нельзя было и силой заставить посеять хоть одно зерно, так что на следующий год маиса не было и цыпленку на обед. И земледельцы жаловались на все и вся, ровно ничего при этом не предпринимая. А он к тому

же и не был земледельцем — он не раз объяснял это Дельбе.

— Когда настоящий земледелец берет в руки горсть земли, он что-то особое чувствует, а мне хоть бы что.

Холодный ветер зашевелил занавески и полог от москитов над кроватью. Не просыпаясь, женщина застонала тихонько и плотнее укуталась одеялом. Мужчина зажег фонарь, подошел к постели, где спал их Ромуло, и подоткнул концы плюшевого одеяла под матрац, чтоб мальчик не раскрылся случаем при таком-то холоде; потом, приподняв занавеску, выглянул в окно. Ветер ударил ему в голую грудь струей мелких дождевых капель. Он вздрогнул. Вся жизнь в сельве останавливалась, когда шел такой вот дождь.

Надо скорее построить другой дом, чтоб теплей и удобней. Этот был временный — здесь столько всего временного. Крыша скатная, сплетена из пальмовых листьев; остов бревенчатый, пол из крепкого луба на полутораметровых сваях, стены тростниковые. Сам строил с помощью батраков и ввел важное новшество: окна были просторные, высокие. Но, несмотря на окна, при первом взгляде на дом у Дельбы стало такое лицо, мол, здесь и жить будем? И здесь они жили и уж три года провели в этом доме, а он все был для них временный.

Марио не был жителем сельвы. Он родился, вырос и прожил двадцать пять лет в Лиме. Город ему не нравился, но он привык, и приспособиться к этой новой жизни было очень тяжело; тем более тяжело, что Дельба никак не могла обвыкнуться. Когда он решил стать земледельцем, то сразу же и начал приводить свой план в действие, несмотря на множество трудностей, несмотря на сопротивление обеих семей, несмотря на страх. Потому что ему было страшно. Они будут жить в сельве. А что такое сельва? Сейчас, окруженный ночью чащобой, он, как и тогда, не знал этого.

— Погляди, не проснулся ли Ромуло?

— Я уж его укрыл.—...Он опустил занавеску и снова лег.

— Завтра не сможешь выжигать.

— Я не думал, что дожди настанут так рано.

— И что собираешься делать?

— Да черт его знает.

— Холодно.

— Иди ко мне, если хочешь.

Женщина перелегла в постель мужа, прижалась к нему и вскоре согрелась. Оба привыкли спать голыми, и соприкосновение тел, если и не пробудило чего-то, во всяком случае, принесло им чувство уверенности, словно каждый означал для другого мир и покой. Тем не менее покой постепенно растаял, и вернулась забота. Тогда мужчина, как последнее средство, заставил женщину повернуться к себе спиной и крепко прижал к себе. Ему нравилось, как она умела вплотную к нему прижаться — с покорностью и вместе с какой силой... Но тут он понял, что нельзя пользоваться покорностью жены, чтоб забыть о своих тревогах,— это обман. Он остался недвижим, уткнув лицо в черные волосы Дельбы, с закрытыми глазами и мыслью, занятой бесплодной борьбой со своим беспокойством.

Дельба угадывала все, что с ним творится, и, подобно телу, душа ее прикинула к мужу, ожидая его решений. В настоящую минуту все, что она могла — это принять все его начинанья; а уж потом она разделит с ним его усилия и сама станет действовать; но сейчас она выжидала и, плотно прижавшись спиной к мужу, впитывала через поры все, что тревожило ее Марио; и ей так хотелось любым способом ему помочь. Но мужчина молчал, лежал неподвижно и притворялся, что спит.

Почти рядом с домом пробегал ручеек. Марио наткнулся на него, когда еще в первый раз приехал смотреть участок, и решил тут же и строить дом — у воды. Позднее управляющий соорудил длинный желоб из выдолбленного бревна, черпающий воду на пригорке неподалёку, и, таким образом, протекая перед домом, вода подымалась метра на два над уровнем ручья и оттуда падала природным душем. Эта баня на воздухе была единственным местом, где можно умыться,— тоже временным.

Сейчас дождь сильно поднял уровень воды в ручье, и она скопьялась по бокам желоба. Это бы ничего, но у Ромуло, которому было уже шесть лет, находилось в этом месте очень важное игрушечное сооружение.



При помощи старого велосипедного колеса и нескольких пустых жестянок Марио смастерил для сына маленькую мельницу, и колесо ее вращалось безостановочно, подгоняемое водой. Вокруг этой мельницы вырос целый город в миниатюре. Сперва появилось строение самой мельницы, потом домик мельника, за ним церковь и муниципалитет... и школа, и тюрьма, и футбольная площадка, которую надо было сызнова красить после каждого дождя, и, наконец, рынок. Все это лепилось в беспорядке на наклонном берегу ручья, напоминая маленькие селенья в гористой местности, вползающие вверх по пригоркам, или окрестные кварталы Лимы, круто спускающиеся к центру. И крохотный город заселялся мало-помалу куколками разных рас, домашними животными и ручными зверьми, заполнялся повозками старинного и новейшего образца, и даже солдатами и танками, ибо и над этим игрушечным селеньем висел призрак войны.

Каждый раз, когда Марио отправлялся по делам в город, Ромуло просил привезти что-нибудь для своего городка, не говоря при этом, что именно, так как любил сюрпризы; и отец всегда что-нибудь привозил, потому что не хотел обмануть беспредельное доверие мальчика. А теперь вот ручей разлился и производил разрушения в крошечном городишке. Сперва он смыл рынок и всех присутствующих на рыночной площади; вслед за тем нанес серьезные повреждения церкви; а под конец стал подмывать опоры мельницы — нет, совсем он ее не повалил, но так подмыл одну из опор оси, что она в результате накренилась и колесо стало. Остальная часть городка не очень пострадала, если не считать традиционного исчезновения футбольной площадки.

Бессознательно Ромуло подогнал топографию своего городка к устройству их фермы. Последняя расположилась на трех уровнях: нижний, равнинный и гладкой поверхности, примыкал к реке Пенденсия, сильно мельчавшей летом, но бурно разливавшейся в период дождей. Параллельно реке, метров за триста от нее, возвышался небольшой откос, возможно, берег доисторической формации, дававший начало длинному плато. На этом плато рос апельсиновый сад и стоял дом. А дальше,

параллельно уже краю плато, само оно переходило в крутой подъем, терявшийся где-то на лесистой вершине. Этот горный лес составлял самый обширный отрез их земли, но был еще не обработан. Марио оставил его на потом, когда хоть частично расплатится с долгами и окончательно решит, что там разводить: может, еще апельсины или кофе, а пожалуй, практичнее сначала использовать дерево, которого там так много.

Ручей раждался прямо на их участке. Возникал из земли внезапно и бесшумно и далее стремился по одной из впадин холма, вслед за тем разливаясь на открытом пространстве апельсинового сада; он обегал лесистую вершину, пересекал плато и вонзался в глубокий разрез грунта, чтоб умереть на нижнем уровне участка, влившись в другой, более полноводный ручей. Дом стоял в глубине плато, близ холма и отделенный от него ручьем.

Все надежды Марио и Дельбы возлагались на высокие земли их надела, те, что были еще сельвой. Так что самым ценным участком их фермы был этот. В городочке Ромуло тоже самой ценимой была самая высокая часть берега, и там-то возвышала свою башенку церковь. Немножко пониже расположились муниципалитет и школа; а еще ниже — тюрьма и рынок. Но, как ни странно, то, что оказалось в самом низу, было самым важным — это была волшебная мельница. В своих играх мальчик, сколько б ни задерживался наверху, служа обедни, торгуя мясом или сажая в тюрьму воров, неизменно чувствовал, что все его тело стремится вниз, к милой меленке, и он подолгу стоял, глядя, как она вертится, и вертится, и вертится, недвижимый, словно зачарованный, без единой мысли, почти не дыша, следя за ходом мельничного колеса, за малейшим его замедлением или ускорением, будучи глух и слеп ко всему, кроме этих магических поворотов.

Дождь не разбудил Ромуло. Он знал, что каждый ливень может разрушить его город, подобно тому как бурные потоки в горах разрушают города взрослых, но все же он мирно спал, да и никакая тревога никогда еще не нарушала его сон.

Однако ж ему было о чем тревожиться. Вода все струилась и струилась с неба, его мельница замерла, футбольная пло-

щадка окончательно слиняла, и церковь начала подозрительно клониться на один бок... Два гектара земли, предназначенные для выжега, заливало водой.

Дождь прекратился в шесть утра. Марио, так и не сомкнув глаз, раздвинул занавески и глядел на воду, капавшую с крыши. Поскольку нельзя выжигать, он решил сегодня подстригать апельсиновые деревья. У него их была целая тысяча. Деревцам уже почти три года было. Он разбудил Дельбу, которая уснула все же под самое утро, но мальчику решили дать выспаться. Позавтракав, он надел свою соломенную шляпу, взял большие ножницы и тесак, вышел и стал подыматься вверх по тропинке. Переходя ручей, он не заметил, что мельница испортилась и стала. Дорожка, проторенная им к самой высокой части апельсинового сада, резко петляла, подымаясь в гору, и исчезала где-то уже высоко. Позднее он собирался проложить ее дальше, до самой вершины холма.

Он пришел запыхавшись и остановился. Внизу, у реки, стлался неуютный туман. Управляющий уже торопил обоих батраков, собираясь идти в банановые насаждения.

Проклятые бананы.

Денег от их продажи еле-еле хватило за эти два года, чтоб кое-как покрыть расходы на их ращение. Казалось бы, на третий год от них пора получить хоть какую-то выгоду; но именно вот теперь на сцену явилась сигатока. Никогда прежде не слышал он этого странного слова, а когда услышал, то уж было, кажется, слишком поздно.

— Не расстраивайтесь, дон Марио, если заболеют бананы, мы что-нибудь другое посадим.

Ну конечно другое — что-нибудь повыносливей и что идет по более высокой цене, даже если урожаем меньше; но... а пока это другое вырастет?

Фидель Кометивос, управляющий, был добрый малый, но не умел смотреть в будущее, не понимал ничего в чертежах и не мог производить расчеты на суммы, превышающие тысячу или две тысячи солей. Он был родом из провинции Сан Мартин, из маленького прибрежного селенья, называвшегося Тинго дель Сапо. что-то вроде Жабьи Реки, хотя это имя не имеет

никакого отношения к жабам, а скорей всего возникло от Сапосоа — так зовется река и главный город провинции. Славный народ там у них, в этом Тинго, радушный и веселый, и девушки там хороши и так забавно моются по вечерам в реке — только груди плавают в облаке мыльной пены. Фидель этот оказался усердный работник. Начал батраком, но уже через полгода Марио, поняв, что он не собирается уходить, назначил его управляющим. Но только Фидель Кометивос продолжал трудиться как простой батрак; даже еще ревностней.

— Я доволен, что теперь управляющий, дон Марио, но я должен работать не покладая рук, чтоб народ знал, что я самый сильный. А то уважать не станут.

И его уважали. По всей округе Фиделя хвалили, и батраки охотно ему подчинялись. Уже много позже он решил отделиться и завел собственную маленькую ферму; Марио ему помог всем, чем только возможно было, и они остались в дружбе — в гости ходили друг к другу, когда время было. Фидель тоже посадил сначала бананы, но совсем немножко и в долг ни у кого не брал.

Самому Марио Сельскохозяйственный банк дал ссуду на его банановые насаждения довольно легко, а Опытная станция дала только множество разных советов да охापку брошюр. Но никто и не заикнулся про эту самую сигатокку, и когда листья начали желтеть и ростки приняли вид печальный и вялый, агрономы сделали озабоченное лицо, чтоб скрыть стыд, и заговорили про спасительные опрыскивания; но кредиторы продолжали каждый месяц посылать все новые счета, сумма которых росла вместе с процентами достаточно быстро, ни в каких опрыскиваниях для этого не нуждаясь. Другого толку от бананов не было.

Пока бананы давали хоть какой-то урожай, он сбывал его двоюродному брату Фиделя — Грегорио Рамиресу, тоже родом из Сан Мартина, который подрядился шофером грузовика и уже построил себе домишко в предместье Комас, к северу от Лимы.

— Фидель — недотепа, дон Марио, я его тысячу раз уго-

варивал поехать со мной в Лиму. Больше зарабатываешь, продавая бананы там, чем выращивая здесь.

Это был вежливый способ обозвать недотепой его самого, и, между прочим, Грегорио был прав, если взглянуть на вещи с его точки зрения. И пожалуй, это было бы разумнее всего. Марио достается в лучшем случае десять процентов от цены, которую после долгих споров дает тот, кто съест плоды. Он с грустью в этом убедился, произведя однажды тщательный подсчет. Оказывается, именно он, кто сажал, выращивал, снимал урожай, получал меньше всех. Львиную долю делили между собой те, кто набивал карманы за счет страданий, ливней, непролазной грязи, изнурительных походов, банковских процентов, одиночества, молчания и мрака сельвы, причастных ему, Марио. С тех пор его уже не оставляло чувство глухого гнева, которое и подавляло его и одновременно ожесточало.

И все-таки сейчас он чувствовал удовлетворение. Он только что обрубил очень крепкие ветки и остановился, с удовольствием оглядывая свое хозяйство. Внизу виделся его дом. Дельба уже хлопотала в кухне, и Ромуло уже начал свой неутомимый день. Поодаль тянулись недавно вспаханные земли плато. Над коричневой поверхностью срезанного сухого бурьяна подымались зелеными пятнышками апельсиновые деревца, редко посаженные, слабенькие, почти задавленные окрестным буйством сельвы, но целые и невредимые. Земля была добрая, к счастью. Еще пониже, на кроме банановых насаждений, уже появился Фидель, согнувшись под тяжестью двух огромных гроздей бананов. Он начинал свой первый полуторачасовой поход по дикой тропе в сторону проезжей дороги.

Его внимание снова обратилось к апельсинным деревцам. К счастью, от них-то можно ждать хорошего дохода, если, конечно, не врут эти брошюры про урожай, какой можно снять с каждого. Он читал, что в Африке есть одно дерево из семейства «Вашингтон Навель», — так оно дает десять тысяч плодов в год, и ему, говорят, больше ста лет от роду. Он окинул взглядом плато. Если каждое из этих деревцев дотянет до урожая в десять тысяч плодов — не за год, а в итоге, — так даже если этого итога придется ждать долго, игра стоит

свеч. Он обойдется без африканских сновидений, достаточно верить в удачу. По пятисот плодов с каждого дерева — более чем достаточно. С тех пор как он работал на своем участке, у него голова шла кругом от всех этих делений и умножений, и порою он так в них запутывался, что бросал работу, шел домой, доставал карандаш и бумагу и начинал все выкладки сызнова. Результат всегда получался удовлетворительный, и он успокаивался.

Он направил свои шаги к ближайшему деревцу.

Там, внизу, Ромуло уже бегом спускался к своей мельнице.

Мужчина и мальчик одновременно достигли конца пути.

Нужно было укрепить упавшие рыночные строения и заново выкрасить футбольную площадку. Церковь немного накренилась, но ничего, можно поправить. Ромуло взглянул с печалью на все эти повреждения и стал спускаться к ручью. Вот там произошла подлинная трагедия. Мельница остановилась. Он осмотрел ее с крайней осторожностью. Все дело в оси. Ему одному тут не справиться. Все другое он наладит, а это никак. Он взглянул вверх. Отец склонился над одним из апельсиновых деревьев. Придется дожидаться обеда.

Апельсинное деревце было совсем ободрано. Ни одного листика не осталось. Ветки походили на иссохшие руки умирающего. Марио провел пальцами по тоненькому стволу, стараясь понять, что же произошло. Еще раз осмотрел внимательно все растение. Пусто. Ни листика, ни росточка. Вся зелень исчезла.

Он стоял неподвижно, не зная, что предпринять, но вскоре понял, что так делу не поможешь, и решил пройти по всему ряду. Выяснится. Второе деревце было в том же состоянии, третье — тоже. На четвертом он увидел их. Все оно было покрыто крохотными муравьями медового оттенка. Каждый отрезал кусочек листа и сносил его вниз по стволу или же сбрасывал на землю, где двигались две длинные шеренги муравьев — одна направлялась к дереву, другая возвращалась с него с крохотным обрывком листа у каждого, поднятым как зеленое знамя.

Он подошел ближе. Он весь дрожал от негодования. Через короткое время это деревце тоже оголится. И тогда он услышал

их. Поначалу он подумал, что грезит, но, вытянув шею насколько возможно, он прислушался и действительно услышал их. То был слабый шум, составленный из бесчисленных кусаний, не слышных по отдельности. Он глядел на них с гневом и с испугом. Они были быстры и деловиты. Они не теряли ни мгновенья. Те, что прибывали из муравейника, сразу находили свое место и вырезали круглый кусочек листа, зажимали его между челюстями и спускались по стволу или же просто сбрасывали его на землю, чтобы другой муравей подхватил. Оба способа оказывались равно действенны. Ни один обрывок листа не пропадал. Это были тысячи и тысячи знаменосцев, которым не было дела до человека. То, чем были они заняты, обладало значительностью, совершенно непричастной человеческим интересам.

Марио чувствовал, словно все его тело наливается свинцом. Почему, черт побери, им приспичило искать корм именно в его апельсиннике, когда в их распоряжении целый лес? Он вдруг потерял власть над собой и прямо набросился на деревце. Отчаянно размахивая руками, он сметал муравьев с веток, ошибкою обрывая оставшиеся листья. Потом бешено затопал ногами, топча обе муравьиные колонны, и в несколько секунд земля вокруг была усеяна мертвыми муравьями, но оставшиеся в живых разбежались.

Он присел на поваленный ствол. Все это зря. Надо действовать обдуманно, ибо его негодование и самый вред, причиняемый муравьями, не могут быть ими осознаны. Существуют инсектициды. Безусловно. Не может не быть какого-нибудь средства для борьбы с муравьями. Глупо выходить из себя. Агрономия — наука передовая. Надо сейчас все бросить и отправляться в город. К счастью, день только начался.

Ромуло видел, как отец спускался по дороге и, хоть и подумал, что случилось, верно, что-то странное, раз он так рано бросил работу, обрадовался возможности сейчас же поправить мельницу. И опрометью бросился ему навстречу.

- Папа, мельница поломалась.
- Попозже я починю.
- А если ее водой снесет?

- Я тебе другую сделаю.
- Я не хочу другую.
- Тебе придется подождать, я в город еду.

Это было что-то непредвиденное и оказалось гораздо хуже, чем ждать до обеда. Теперь мельница останется без движенья и в опасности допоздна, может, даже до завтра.

Они пересекли ручей, но отец и не взглянул на разрушения в игрушечном городке. Надо ждать, что ж еще остается? Без мельницы его селенье словно вымерло. Он последовал за отцом. Может, все-таки...

- Что произошло?
- Муравьи обдирают апельсинник.
- Мама, мельница поломалась.
- Муравьи?
- Да. Я заметил уже четыре деревца без единого листа.

Мне необходимо в город за инсектицидом.

- Прямо сейчас?
- Лучше сейчас, так я вернусь пораньше.
- Может, поешь перед отходом?
- Я только что позавтракал.
- Позавтракаешь второй раз.
- Ты печешь хлеб?
- Пока нет. Замесила.
- Ладно, дай мне кофе с молоком, только быстренько.

Она поставила греть молоко.

- А муравьи — это очень опасно?
- Не знаю. Думаю, есть же какой-нибудь способ покончить

с ними.

- Мама, мельница поломалась.
- Поломалась или ты ее поломал?
- Нет, нет, сама поломалась. Я потом пришел.
- Я ведь сказал тебе, что починю.
- Но ты в город собрался.
- Честно сказать, мне самому неохота.
- Постарайся к ночи вернуться.
- Ладно.

Опять его попытка провалилась. Мельница будет стоять до



завтра. Однако была еще последняя надежда. Если отец сядет за стол, то все потеряно, но пока что он не сядет. Ромуло весь дрожал от напряжения.

— Папа, как ты думаешь, я сам смогу поправить ось?

— Нет, нет, лучше не трогай. Я потом сделаю.

Все погибло.

— Почему б тебе не починить ему мельницу, пока греется молоко?

— Если это надолго, я не стану ждать. Вообще-то я не голоден.

— Хоть что-нибудь съешь; тропа наверно потонула в грязи.

— Так и быть, поглядим, что там с нашей мельницей.

Ромуло бросил благодарный взгляд на мать, но она не обратила внимания, так как в эту минуту чистила засорившуюся горелку.

Повреждения, причиненные мельнице, оказались несерьезными. Одна из опор оси накренилась — и это было все.

— На сей раз мы ее лучше укрепим. Набери-ка мне камней.

Ромуло опрометью бросился исполнять порученье и притащил целую кучу камней, гораздо больше, чем нужно.

— Вот и порядок. Теперь мы ее обложим поплотней, и будет она у нас как скала стоять.

Ось сидела теперь прямо и крепко, и старое велосипедное колесо, постепенно набирая быстроту, завертелось снова. Городок обрел прежнюю жизнь.

— Вторую опору тоже надо будет укрепить, но этим мы займемся завтра.

Вторая опора не представляла опасности. Лучше, конечно, и ее укрепить, но дело терпит. Мельница вращалась как всегда. Это было важнее всего.

Марио поцеловал жену в губы, повесил на плечи мешок, спустился по четырем грубо строганным ступеням и пошел прочь широким шагом.

Дельба убрала со стола и принялась за хлеб. Закваска уже поднялась, и можно было делать тесто. Это было самое докучное. Надо быть очень внимательной, иначе тесто выйдет слишком жидкое или слишком густое. Месить хлеб — тяжело и дол-

го, но зато можно отдаться своим мыслям. Она насыпала муки в миску и стала лить туда воду, понемножку, старательно перемешивая. Она правильно рассчитала. Густовато, пожалуй, но так лучше. Она обсыпала руки мукой и принялась месить.

Тропа была покрыта грязью, но не такой непролазной, как зимой. Пот стекал по голым плечам Марио, и, когда он перевешивал мешок с одного на другое, кожу будто огнем обжигало. Это был недостаток этих прорезиненных мешков: вещи в них сохранялись сухими даже в сильный дождь, но на солнце они перегревались и было ужасно трудно их тащить. Это были изделия домашнего производства, разбросанного по тем уголкам сельвы, где можно добыть каучук. Их делали из прочной материи, которую натягивали на каркас из палок, связанных лианами, и день за днем пропитывали и пропитывали каучуком. Когда мешок затвердевал, ему давали меткое название «смолёный».

Марио купил такой мешок и уж не расставался с ним, беря в каждый свой поход к реке. В первые месяцы он никак не мог приспособиться и выбрать одежду, в какой удобнее идти через лес. Вначале все принимаемые предосторожности казались недостаточными: высокие сапоги, плотные брюки, карманный компас и револьвер. Вскоре револьвер уже не вынимался из ящика стола; потом брюки стали потоньше, потому что жара оказалась большей силой, чем боязнь змеиных укусов; наконец, компас затерялся, и никто не позаботился приобрести другой. Тогда-то он и купил этот мешок. С тех пор он надевал легкие сандалии, которые были удобней сапог, потому что, если и промокнут, не жалко, натягивал короткие брючки, нахлобучивал на голову соломенную шляпу, а всю одежду, нужную для города, клал в мешок и так шел все три километра через лес. Если случалось, что, подойдя к реке, он не встречал никого, кто бы переправил его на тот берег, он ее переплывал, лежа на надувшемся мешке, который держался на поверхности как надувной плот. Такой способ, правда, годился не на все времена года. В самые лютые месяцы зимы река в отдельные дни так разливалась, что было невозможно переплыть ее даже на самой большой лодке. Тогда он втыкал колышек у самой воды и ждал два или три часа, наблюдая, прибывает она или убывает.

Сейчас, пробираясь, полуголый, по трудной тропе, Марио думал о том, что, замышляя свою маленькую кампанию по освоению сельвы, никак не смог бы себе представить, что обретет достаточную уверенность, чтоб ходить по опасным местам в таком виде. Он обрел эту уверенность, но вместе с ней и тревожное чувство, что сама она, как все в сельве, соотносящееся к человеку, окажется временной и зыбкой. Ничто здесь не было надёжным, постоянным или предвидимым. Все казалось взятым взаймы. Жизнь была непрерывным сопротивлением тем скачкам, какие природа могла дать в любое мгновение. Иногда проходили годы, и ничего не случалось; на ферме, например, когда хватало рабочих рук, неизменно царили чистота и порядок. Но сельва всегда была за спиной, необъятная, спокойная, как зверь в зимней спячке; она никого не отталкивала, ни на кого не нападала, она просто жила, и этого было достаточно. Ибо жизнь ее была неиссякаема и несокрушима. Ничто не сдерживало животворной силы земли. В течение двадцати лет можно было иметь отлично ухоженный апельсиновый сад, а потом... случайный промах, нехватка работников — и вот сельва уже крадется меж фруктовыми деревьями, прорывается крохотными ростками из земли, обвивается вокруг корневищ, ползет вверх и вверх по стволам, пригибает ветви, душит побеги, не дает созреть плодам; а если неурядица продолжалась, то плотная зеленая перина повисала вдоль апельсиновых деревьев, тянулась над ними и поглощала их навсегда. За двенадцать месяцев сводились к нулю двадцать лет работы.

Его апельсиновым насаждениям было всего еще только три года, но страшно было и представить себе, что они погибнут. А так могло случиться. И очень просто. Эти муравьи, проворные и деловитые, такие непонятные ему... Здесь чем непонятней, тем разрушительней. И это относится не только к муравьям. Взять хотя бы случай с Куличичем.

Андрес Куличич был югославский иммигрант, который поселился здесь одиннадцать лет назад. Молчаливый, добрый до скуки, работающий, прекрасный семьянин, он выбрал хороший участок близ проезжей дороги и решил посадить апельсины. Распахал одиннадцать гектаров, лучшую землю на своем участ-

ке, и все сделал точь-в-точь так, как ему объяснили на Опытной сельскохозяйственной станции.

Он купил привитые растеньица там же, на Станции, посадил строго по указаниям, какие дал ему агроном, ведающий цитрусовыми,— тот, что потом даже пару раз побывал у него на ферме,— и в течение трех лет ухаживал за своим апельсиником так тщательно, как способен только аккуратный югослав.

Через три года, в один яркий солнечный день, Куличич вышел из дому и увидел весь свой апельсиновый сад в роскошном цвету. Агроном со станции сказал ему, что ждать плодов следует не раньше чем на пятый год. Они ошиблись, эти ученые, или недооценили мощное плодородие сельвы. Он тут же сообщил счастливую новость агроному, который его поздравил и обещал заехать взглянуть на плантацию, чего, впрочем, не сделал. Прошло время, и налились плоды. Урожай был необыкновенный, и Куличич очень упрашивал агронома взглянуть. Он пригласил его в воскресенье к обеду. Агроном приехал.

Все апельсины были горькие. Побег горьких апельсинов оказались живучее, чем почки привитых сладких, и в конце концов заглушили привитые. И это естественно, что так получилось, ибо не была принята одна мера предосторожности: необходимо было обрубить ростки горького апельсина, которые легко узнать, так как они появляются внизу стебля, под местом прививки. Никто об этом и не заикнулся. Агроном только сейчас объяснил это Куличичу. Югослав не убил агронома на месте только потому, что был добрый.

Когда Куличич рассказал эту трагедию Марио, она стала уже забавным анекдотом, и югослав печально улыбался, вспоминая свою нелепую радость в то солнечное утро, когда его бесполезная апельсиновая плантация явилась ему вся в белом цвету. Три года потратил он на пустой сон. Столько потерянного времени.

Слишком большое число раз приходило на ум здесь в сельве, и особенно по пути к реке, слово «столько». Столько терпения, столько бурьяна, столько труда, столько воды, столько напрасных усилий, столько мук — столько, и столько, и столько...

По правде сказать, его жизнь в городе тоже было полна всяких «столько». После того как он заучивал столько вещей в школе, оказавшихся совершенно ненужными, и воображал столько будущих карьер для себя, он оказался перед необходимостью искать работу. Ему повезло. Нашлось свободное место в одном медицинском учреждении, и он стал рекламным агентом. Эта работа была не такой изматывающей, как у продавца, и не такой бессмысленной, как у конторского служащего, но по вечерам, когда он возвращался домой после визитов к врачам, сопровождавшихся порой долгим ожиданием в приемных, где он чувствовал себя преступно здоровым среди разных недугов, он думал, что ничего не свершил, что миновал еще один день из того, что он звал своей жизнью, что он всего лишь пересказал врачам последние анекдоты и вызвал у них смех; и это было единственным его достижением, единственным, что он мог припомнить из прошедшего дня, единственным, о чем мог поведать, если кто-нибудь захочет слушать: он рассмешил полдюжины врачей шутками, которые даже и не сам сочинил.

После женитьбы на Дельбе дела пошли еще хуже, ибо он возвращался бедным в свой дом и к своей жене, не умея предложить ей ничего нового, что украсило б ее жизнь и делало бы внутреннюю взаимосвязь, возникшую между ними, с каждым днем глубже и сильней, а не только прочней и привычней. Иногда он ловил себя на том, что ищет в знакомых улочках Лимы что-либо новое и необычное — он сам не знал что; но, куда ни взглянешь, всюду было все то же уродство, словно специально выставленное напоказ, и это привычное однообразие заставляло его забыть о своих мечтах и вернуться к своей работе и к обычной сфере, в какой вращалось его воображение.

Марио перевесил мешок с одного плеча на другое и несколько раз сгибал и разгибал спину, покуда кожа не привыкла к горячей и жесткой ткани. Топкая тропа была ему теперь не менее знакома, чем панель у домика в Лиме, где он родился; его ноги уже знали на ощупь все ее излучины и рытвины, и нужно было только крепко ступать, чтоб добраться невредимым до реки Тулумайо. Большая часть тропы вела через надел, значительно обширней, чем его, где почва была очень хороша;

но работ здесь не велось. Не так давно он пытался разузнать, нельзя ли приобрести какую-то часть этих земель. Иногда им овладевали грандиозные фантазии — ведь его участок составлял всего шестьдесят гектаров, и лишь половина из них годилась для обработки.

— Этот участок принадлежит депутату Веларде.

— Но есть закон, по которому надо обрабатывать какую-то часть в год, пока не покроешь определенную...

— Да, да, конечно, я знаю этот закон. Вероятно, депутат Веларде производил там какие-нибудь работы.

— Участок абсолютно не тронут.

— Вы им интересуетесь?

— Он граничит с моим, и я бы купил кусок, если это возможно.

— А свой вы уже обработали?

— Не совсем, но осталось немного.

— У вас оформлен документ на пользование?

— Оформлен.

— Не знаю, право... Вам лучше поговорить с владельцем. Может, он согласится продать вам несколько гектаров.

— А у него документ оформлен?

— Уже несколько лет.

— Но он и полгектара не обработал!

— Говорите о законах с депутатом!

С тех пор, проходя по заброшенному участку, он каждый раз чувствовал досаду и решал начать действовать. Как-то раз он увидел мельком этого Веларде, который к тому времени уж не был депутатом, но приезжал из Лимы каждый год, чтоб соблюсти свои интересы, и наладил все так ловко, что беспрепятственно мог оставлять свой «участочек» за собой, даже и в нетронutom виде. Но он так и не поговорил с этим человеком. Он чувствовал, что все тут нечисто, и не хотел быть соучастником в подобных делах.

А вокруг была древняя сельва, незыблемая и неизменная, ничего не ведающая о том, что отдана кому-то на обладание по закону, запечатленному в непререкаемых документах, и что право на обладание ею будет переходить из рук в руки, от

отцов к сыновьям, от собственников к покупателям, от покойников к наследникам. С его землями будет то же, и то же будет с землями его соседей и со всеми землями на всей планете, какими владеют люди. Документы, контракты, договоры — это все лишь на поверхности; у этого нет корней, как у деревьев, оно не имеет исконной связи ни с обладателями, ни с обладаемыми. Но люди сражаются за эти бумаги более отчаянно, чем за саму землю, и только тогда чувствуют себя спокойно и уверенно, когда у них в несгораемом шкафу нагромождаются кипы бумаг, покрытых печатями и непонятными знаками. И не понимают, что здесь зародыш их падения, ибо человек не может копить земли, но может копить бумаги и в своей ревностной заботе об этом разучивается обрабатывать землю, и ходить по ней, и понимать ее и любить, и продает ее в руки разных ловкачей, и земля остается одинокой и тогда призывает других — тех, у кого нет бумаг, но кто сумеет любить ее.

Марио тоже чувствовал себя спокойно и уверенно с тех пор, как оформил бумаги. Когда в отделе Управления земледельческой колонизации он получил свои документы на право землепользования, ему даже жарко стало, словно он только что выпил. В тот день он явился в Тинго Мария с конвертом в руке, шагая уверенней чем когда-либо и повторяя в душе: у меня есть своя земля, у меня есть своя земля. Действительно, у него была своя земля. Жаль только, что об этом ничего не хотели знать муравьи и ливни.

Есть глубокая правда в том, что перуанскую сельву называют «монтанья», что означает «гора». Она неприступна, таинственна, великой красоты, и властвовать над нею можно, только не щадя себя. Ничто не может заменить горячего усердия землевладельца, ибо сельва не знает иного наречия, не клонится под иною рукой, чем наречие и рука тех, кто вверяет ей собственную свою жизнь. Если б кто-либо, не знакомый с нашей страной, прочел историю развития законодательства, относящегося к освоению этих мест, он подумал бы, что мы — одна из самых богатых наций мира, ибо единственным основанием для стольких и стольких законов, таких подробных, таких разумных, явился безудержно растущий спрос на землю и на-

пористое стремление работать на ней, принуждая давать все больше и больше.

Марио прочел все эти законы. Это был единственный результат его первого посещения отдела земледелия и лесоводства министерства агрикультуры — ему дали пыльную брошюру, которую он и проглотил с первой страницы до последней. Там он нашел и мелкую собственность, и среднюю, и крупную. Все возможности были учтены, все вопросы решены заранее. Спрашивать ничего уж больше не приходилось — только действовать.

За полночь, когда Дельба уже спала, он открывал пресловутую брошюру и снова и снова внимательно перечитывал знакомый параграф, касающийся какого-либо вопроса, пришедшего ему в голову по поводу той или иной частности в деле обработки земли. Естественно, знаменитая брошюра разрешала все его сомнения, и тогда он бросал читать и предавался мечтам. Его мечты имели много общего с любимой его брошюрой: они совершали скачок от желаемого к действительному сразу и без препятствий. В конце концов Дельба обнаружила книжицу, но интерес Марио к освоению новых земель был так нелеп, что она не придавала особого значения находке и только стала в шутку называть проекты мужа «брошюрным помешательством».

В действительности Марио еще ничего не решил окончательно, хотя сам думал, что все уже решил; но в один прекрасный день он отдал себе отчет в том, что знаменитая брошюра стала в доме предметом уже привычным, и тогда надумал снова пойти в министерство и робко, почти нехотя, начал хлопотать о возможности арендовать кусочек земли в районе Тинго Мария.

Тут начался форменный кошмар.

Все касающееся участков и возделывания земли в сельве зависело от отдела земледелия и лесоводства, где Марио и достал эту пыльную брошюру с совершенными законами. Когда он снова посетил это учреждение, он знал уже назубок все эти законы со всем их совершенством. Знал даже, как осуществить их на деле. После того как он потерял два часа, ожидая какого-то чиновника и от нечего делать разглядывая секретаршу, читающую иллюстрированный журнал, оказалось, что ему нуж-



но обратиться к начальнику отдела, а что названный начальник сейчас на совещании у директора и скоро освободится. Но он так долго не освобождался, что Марио вынужден был уйти, а то работа стояла. Хотя Марио так никогда об этом и не узнал, начальник вернулся в свою контору только назавтра, потому что вовсе не был у директора, а попросту ушел домой.

Марио отправился снова через два дня, пораньше, и начальник, конечно же, еще не пришел; но все же он явился наконец, и Марио удалось поговорить с ним. Оказывается, все не так уж трудно, просто как кому повезет.

Да, законы, о которых упомянул Марио, продолжают действовать.

Да, прекрасно, что такой человек, как он, решается стать колонистом и ехать в сельву, — это именно то, в чем нуждается страна.

Да, участки сейчас дешевы, и можно выплачивать в течение десяти лет.

Да, лучше ограничиться наделом не слишком крупным, скажем, в сотню гектаров.

Да, безусловно, подобные участки в наличии имеются.

Да, Сельскохозяйственный банк предоставляет учетный кредит для возделывания земли в сельве.

Да, это дело не связано с особыми хлопотами.

Да, решение остановиться на районе Тинго Мария — весьма правильное, там хорошая почва и есть Опытная станция высшего разряда.

Да, лучше всего, если Марио отправится туда как можно раньше, чтобы ознакомиться с местностью и осмотреть участки. Правда, Управление занято проверкой актов и не заключает в настоящий момент никаких договоров, но это вопрос недели-двух, самое большее месяца, а пока что следует поторопиться с поездкой, принимая во внимание, что сейчас лучшее время года.

Да, в Тинго Мария есть отделение министерства, в самой Опытной станции, там ему покажут план местности, помогут ориентироваться и дадут список участков, какие следует посетить.

Да, проводника достать можно, это не проблема.

Тропа, ведущая от фермы к реке Тулумаю, была самой заметной. Были другие стежки, видимые только опытному глазу обитателей леса и доступные только их привычной стопе, но эта дорога была в достаточной мере проходимой. Худо было то, что ходить по ней было все-таки почти невозможно. Никто никогда не подумал о том, чтоб улучшить ее или хоть расчислить — и не только из апатии, но еще из-за отсутствия времени и денег. Махнет кто раз-другой топором, или — что и вовсе редко — соберутся несколько соседей и поработают на ней пару часов. Но большей частью бывает, что если упадет поперек нее дерево, то люди отправляются в обход, и через некоторое время этот новый путь входит в привычку, а первоначальный забывается. И если какой-нибудь куст протянет над нею ветви, люди пробираются под ними, пригнувшись.

Но бывали дни, когда дождь превращал тропу в настоящий ад из скользких ям и маленьких болотцев, и тогда Марио чувствовал себя подавленным бесконечными неожиданностями сельвы. Он видел себя как бы со стороны, тащущимся по проклятому этому месту, полуголого, залитого водой и потом, по пояс в грязи, небритого, с жестким мешком на спине, и задавал себе вопрос: к чему это все, куда он стремится, какую цель преследует и что из этого выйдет. Разве это жизнь? В такие моменты горькое сознание своего поражения охватывало его каждый раз, как он оступится или поскользнется. Он сам выбрал такую жизнь. К материальным трудностям, которым конца было что-то не видно, добавились другие, гораздо тяжелей, и хуже всего была эта постоянная растерянность перед окружающим бесчувствием, более беспощадным, чем равнодушные большого города.

И в такие минуты он всем своим существом тянулся к Дельбе и Ромуло, к их любви, такой неодинаковой и такой неизменной. Он понимал, что это увертка, самообман; но не мог иначе. Он должен был укрыться в любви жены и в нежном доверии сына. Иногда он сознательно искал этого прибежища; иногда его вело к нему нечто внезапное и непредвиденное. Но процесс повторялся неизменно, почти ритуально. Сначала он думал о

своей собственной жизни, потом уходил воспоминанием ко времени, когда познакомился с женой, а под конец начинал чувствовать ее живое присутствие. И это все. Сразу же их взаимная любовь была во всем его существе и всех его действиях. Даже заботы окрашивались любовью и становились мелочами жизни, не имеющими значения, выходящими из круга того, что действительно важно. Потом ему представлялся Ромуло и являлось сознание того, что он не один, что он — часть семьи.

В такие минуты, если издали виден был его дом, он останавливался и некоторое время смотрел на пальмовую крышу, замерев телом и душой, открывая мгновенье за мгновеньем тайну, которая всегда от него ускользала, смысл жизни, то, над чем не способен был думать и что чудесным образом теряло свою загадочность в эти короткие секунды. Покой, однако, был непрочен и потому так желанен. Исчезал с тою же быстротой, как явился, и воскресала неуверенность, тягота ответственности, робость, превращающая его в маленькую точку, затерянную среди сельвы.

На повороте тропы он встретился с Фиделем и двумя батраками, возвращавшимися домой, сложив связки бананов на речном берегу.

- Вы в город, дон Марио?
- Да. Поищу чего-нибудь против муравьев.
- Вернетесь сегодня же?
- Если успею.
- Тогда дадите мне денег, дон Марио.
- Сколько тебе нужно?
- Пятьдесят солей, да захватите для меня коробку патронов.
- Ладно. До свиданья.
- До свиданья, дон Марио.

В конторе Земельного управления района, в Тинго Мария, волокита вошла в обычай, как в остальной части страны, только была еще более нелепой и изматывающей, ибо служащих было ничтожно мало и ни один не мог переложить все на другого, так что их бездействие, равнодушие и тупость бросались в глаза без прикраски, сразу же. Спустя годы Марио отдаст себе отчет в том, что это было самое ужасающее здесь, в

сельве: прикраска спадала по частям, может, от жары, может, смытая дождем, а может, по тайному велению сельвы.

Явившись в Тинго Мария, Марио сразу направился в контору Управления. Сам начальник принял и отправил его весьма поспешно, ибо здесь ожидание в приемной было бы уж вовсе нелепым, и он вышел с той же быстротой, как вошел.

Нет, в Тинго Мария уже не имеется земель, объявленных к продаже, поскольку все земли давно распределены.

Нет, Управление занято проверкой актов, и они еще не скоро будут приведены в соответствующий порядок, ибо эта задача требует длительного и кропотливого труда.

Нет, участки не будут распределяться по объявлениям, а будут предложены к продаже с торгов, и речь идет, разумеется, не о лучших участках.

Нет, проверка актов — это только начало, затем придется выявить непригодность участков, которые не были обработаны, а это потребует в каждом случае решения высших инстанций.

Нет, других возможностей не представляется.

Начальник не сказал Марио, чтоб тот убирался ко всем чертям, только потому, что воображал, будто на него возложена обязанность поощрять и направлять колонизацию этой части перуанской сельвы и поддерживать всякого, кто решится стать колонистом; но для Марио эти слова были чем-то вроде пощечины, сопровождаемой табачным духом, и означали, что он должен возвратиться в Лиму, к своим врачам, и перестать морочить голову другим. Ничего подобного начальник, разумеется, не сказал, хотя это было бы честнее всего, но зато поставил его перед выбором: он мог поискать надел в Пукальпа, где есть недурные земли близко от проезжей дороги, или, если он настаивает на Тинго Мария, можно купить участок у какого-нибудь владельца, но обязательно при этом проверив, в порядке ли у того документы. Да, участки здесь довольно дороги. До свиданья.

На следующее утро Марио уже влезал в кузов грузовика, направлявшегося в Пукальпа. Грузовик шел порожний и по дороге должен был забрать груз дерева, чтоб доставить в Лиму, и Марио предпочел ехать сзади, стоя, держась за край

кузова, весь исколотый и исхлестанный сельвой.

Поселок Тинго Мария обрывался разом, бахромой одиноких домиков по обе стороны проезжей дороги. За ними — несколько крутых поворотов и кладбище. А дальше — сельва с рекою, проглядывающей сквозь листву, и водою, падающей с холмов маленькими белыми каскадами. Время от времени — жалкая хижинка; дальше — опять жалкая хижинка; еще дальше — белый домик, чистенький, веселый. И плантации бананов, и дынные деревья с продолговатыми плодами, и неухоженные апельсиновые рощи, и ухоженные апельсиновые рощи, и еще бананы, и еще сельва, и еще хижинки.

Но Марио так и не доехал до Пукальпа.

Была у него одна старая мечта, которую он любил смаковать время от времени, особенно когда пробирался по дикой тропе. У этой мечты было четыре колеса, и была она маленькая, крепкая и зеленая. И звалась «джип». Но стоила очень дорого. Марио чувствовал себя уверенней и спокойней от одного предположения, что когда-нибудь у него будет подобная машина. Он изучил ее во всех подробностях, прочел все рекламные брошюры и даже сам стал горячо ее пропагандировать. Он безусловно признавал все ее недостатки, но достоинства явно их превышали, и у нее была масса преимуществ. Это была его мечта, а с мечтой он мог поступать как ему угодно.

Все те препятствия и ограничения, с какими ему приходилось сражаться на каждом шагу, оказывались трудностями, с которыми «джип» помог бы совладать. Взять хотя бы эти три километра до реки, пройти которые так трудно, — они превратились бы в пять — десять минут езды. Правда, чтоб это стало возможным, надо расширить и основательно расчистить дорогу, а потом утрамбовать и прорыть канавы по бокам, а то она будет непроезжей большую часть года. Но все это можно сделать постепенно, используя тот же «джип». Он не слишком знал как и не очень задумывался над конкретными задачами, но «джип» все уладит.

Потом настанет очередь дома. Убогая лачуга, в которой они живут, превратится в уютный деревянный дом. На его земле растут в изобилии разные деревья крепких пород, и будущий

«джип» без труда можно будет превратить в эдакую лесопилку на колесах. Раз-два — и готовы доски. Достать бы еще небольшую динамо — перекупить у кого-нибудь — да подключить к «джипу» и... у них будет свет.

Кроме того, Ромуло на будущий год пойдет в школу. Если у него будет «джип», он сможет каждым утром довести сына до проезжей дороги, а вечером заехать за ним.

Марио столько думал обо всем этом, что ему уже стало казаться, будто для осуществления главных его проектов не хватает только одного — «джипа».

Так и случилось, что маленькая зеленая мечта на четырех колесах стала утешением во всех его неудачах, лекарством от тревог в бесконечных переходах по трудной тропе и ясным доказательством того, что нет такой цели, какой нельзя достигнуть силою мечты.

Через какое-то время Марио смог наконец купить свой «джип», но не осуществил с его помощью ни одного из проектов, связанных с ним, пока он был мечтой. Он не пригодился даже, чтоб по утрам отвозить Ромуло в школу и по вечерам заезжать за ним.

Чтоб добраться до проезжей дороги, Марио должен был пересечь реку Тулумайо в таком месте, где не было моста. На другом берегу, у самой дороги, возвышалось небольшое строение — наполовину жилье, наполовину харчевня,— где можно было запастись самым необходимым. Тростниковые стены и пальмовая крыша прогнили и пришли в ветхость, и владельцу приходилось всякий год заделывать дыры, пробитые ветром, чтоб не просочился дождь. Был то человек старый и крепкий, здоровый и всегда спокойный. Смеялся редко, но зато никогда не сердился и все, спешное и неспешное, делал не торопясь. Его звали Эсколастиком, и он был родом из этих мест. Его жена хлопотала с посетителями, а он ухаживал за своим крохотным участком и плел сети для рыбной ловли. Иной раз по субботам ездил в город и возвращался в понедельник, пьяный и крепко ругаясь от счастья.

Эсколастиком сел в грузовик, на котором Марио ехал в Пукальпа, примерно через полчаса после того, как отъехали от Тинго

Мария; у него были какие-то дела в имении «Услава» в нескольких километрах отсюда. И за время этого короткого совместного путешествия он узнал о планах Марио и разразился хохотом, чему тот был свидетель впервые, когда будущий колонист объяснил, что в районе нет участков и поэтому он направляется в Пукальпа в надежде найти там. Он убедил Марио забыть начисто о Пукальпа, земли там дерьмо и жара чертова, да и даль к тому ж. А тут близехонько есть недурные участки, которые пришли в упадок, потому что заброшены. Поезжайте в Лиму и хлопочите там. Здесь толку не добьетесь. Хотите хорошую землю — я помогу выбрать.

Марио сошел со стариком в «Усладе», подождал его, и они вместе вернулись на другом грузовике в харчевню Эсколастико. Как только приехали, старик перевез его в своей лодке через реку и проводил его до места, где он и выбрал потом участок, по этой самой тропе, которая стала теперь — уже навсегда — частью обыденной жизни Марио. Эсколастико тоже вошел в его жизнь навсегда... Марио и Дельба считали Эсколастико человеком счастливым и надежным. Харчевня старика — хижина Эсколастико, как ее называли, — была неизменным прибежищем в путешествиях в город и обратно домой. Иногда приходилось задерживаться там по два-три часа в ожидании попутного грузовика или автобуса в сторону Тинго Мария, наострая уши всякий раз, как издали раздавался какой-нибудь звук, похожий на шум мотора, и следя за однообразными взмахами челнока, которым старик плел свои сети.

Эти долгие ожидания были в первые месяцы очень тягостны для семьи и даже для Ромуло, на котором родители вымещали потом свою досаду. Но мало-помалу, как это случалось здесь со всеми, медленный ритм растительной жизни овладел натурой Марио и Дельбы. Они поверили, что в конце концов научились терпению, и с этого времени ожидания стали уже не ожиданиями, но приятными передышками, скупыми и спокойными беседами, мечтами, воспоминаниями, дымками самокруток. Эсколастико с женой заметили перемену и стали чувствовать себя вольготнее в кругу молодых. Они смутно почувствовали, что столичники приобщились к их действительности.

Река еще не разлилась, когда Марио дошел до нее. Он не стал терять времени на поиски лодки или кликать Эсколастикю. Положил часы и шляпу в мешок, покрепче затянул и бросился в воду. В несколько сильных взмахов доплыл до противоположного берега. Быстро вытерся и оделся, сменил промокшие сандалии на грубые башмаки, надел шляпу и направился к знакомой хижине, отстоящей метров на сто от реки.

— Добрый день, Эсколастикю.

— Приветствую. Входите, входите, дон Марио.

— Какая-нибудь машина проезжала?

— Сегодня вам, пожалуй, трудно будет добраться до города.

— Почему?

— Как? Вы разве не знаете, что сегодня президент приезжает?

— Президент? Какой президент?

— Президент республики, какой же еще. Сегодня он придет в Тинго Мария.

— А-а... Я не знал.

— Говорят, выехал со свитой из Уануко еще на рассвете.

— Наземным путем?

— Ага. Вчера заночевали в Уануко.

— А почему не на самолете?

— Он хочет побольше увидеть.

Мужчины засмеялись, сами не зная толком чему.

Тесто еще рано было ставить в печь. Пусть постоит. Она любила делать хлеб, в особенности потому, что ей стоило дьявольских усилий научиться этому; но теперь уж у нее это получалось очень здорово, и Дельба вдруг открыла, что ничем так не гордится, как тем, что Марио нравится хлеб ее выпечки.

Марио не знал об этом, как не знал и того, что ей нравится смотреть на него, когда он возвращается из города, всегда внезапно, потный и возбужденный ходьбой, упругий, как молодое животное, скидывая на ходу брюки и сандалии, чтоб скорей сунуться под холодную струю ручья. Там он оставался подолгу, пил воду большими глотками, яро намыливал и тер все тело; потом обертывал бедра полотенцем и садился обедать. Только тогда он рассказывал Дельбе, что делал в городе, что там в



это время произошло, в том случае, если что-то произошло, и даже с кем и о чем разговаривал, немножко преувеличивая свою роль во всем этом и добавляя слова, какие хотел сказать, но не сказал.

В такие моменты Дельба замечала, насколько изменился близкий ей человек. Худощавый юноша, всегда робеющий и во всем нерешительный, так и не исчез в нем, но корпус стал шире и руки плотнее, робость стала лишь одной из приятных черт его характера, и решал он все молча, но неколебимо. Что было бы, если б она узнала его уже таким? Полюбила ль бы так беззаветно?

Далеко не сразу поняла она, что влюблена в этого несколько бесцветного молодого человека. Когда он искал встречи, она ощущала досаду; но ощущала досаду и когда он не искал встречи. Марио как-то постепенно входил в ее жизнь и во все ее существо, пока она не почувствовала, что без него не может, и не перестала противиться этому чувству.

Но если Марио теперь не прежний, почему ж он все так же нужен ей? Так же ли? Быть может, любовь меняется. Быть может, она теперь любит его полнее, потому что он теперь больше мужчина и она — больше женщина. Она сознавала, что в минуты близости безумие было безудержней и отрешенней у обоих. И сознавала также, что это необычно, так как во всех знакомых ей семьях мужчины и женщины превращались постепенно в жен и мужей, для которых общая постель стала привычкой. И все же куда девался тот, другой, Марио?

Дельба угадывала, что прошлое не исчезло, что ее муж — не только тот, что сегодня, но и хранит в себе все, чем был прежде; и порою пугала ее мысль, смутная, правда, что и будущее уже здесь, что они живут во времени, гораздо более пространном, чем текущий день, и что сами они — не только то, чем кажутся, но нечто сотканное из воспоминаний и надежд, а также из каких-то забытых вещей и неожиданных событий. Но какие из надежд сбудутся? Ромуло — это одна из сбывшихся. Она так страстно ждала его, что сейчас ей казалось, будто он родился не когда родился, а много раньше, в то самое мгновенье, когда она поняла, что полюбила Марио.

В то время, в Лиме, в конце месяца они бывали так стеснены в средствах, что последние дни превращались в ряд мучительных терзаний, потому что срок выплаты упорно не наступал, а деньги на покупки упорно кончались. Тогда, поскольку иной раз и на кино не хватало, свободные часы становились словно перерывом, заполненным молчанием и телевизором, и оба вынуждены были зачем-то досадовать на что-то, не осмеливаясь к тому же разделить это тягостное чувство с другим. И как раз тогда, когда жизнь уже открывала перед Дельбой бесцветно-однообразную дорогу будущего, появился Ромуло. Потом появилась сельва, разумеется, но первым появился Ромуло.

В действительности же, как она теперь угадывала, Ромуло был с ними с самого начала и только появился на сцене, когда сцена была готова для него.

Глядя на еще не испеченный хлеб и все пока не решаясь ставить его в печь, Дельба спрашивала себя, сумела ли б она когда-нибудь понять так глубоко своего мужа и своего сына, и даже саму себя и саму жизнь, если б оставалась тем хорошеньким зверком в модной юбке, который питался многосерийными телефильмами, новинками мексиканского кино и журналами для женщин, безропотно принимая обычай мелкого мещанства, прикрывающего недостаток средств чванливостью, и суетные интересы и болезненные страхи пассивной и тупой среды, в которой родилась и выросла.

Когда как-то раз Марио, придя вечером домой, сообщил официальным тоном, что обдумывает возможность переехать жить в сельву и заняться сельским хозяйством и что на будущей неделе, когда начнется его отпуск, он съездит туда ненадолго на разведку, Дельба поняла, что это серьезно, и испугалась. Ей сельва представлялась большим зеленым пятном на школьных картах, и мысль о том, чтоб жить там, была столь же нелепой, как намерение переехать на Луну. Но ей не достало времени на особые споры, потому что скандал, устроенный ее семьей, в особенности матерью, когда там узнали о нелепом и преступном проекте отправиться в сельву, побудил ее, хоть и не вполне искренно, встать на сторону Марио. Из упрямства и затем, что ей нравилось считать себя не похожей на

свою семью, она начала яростно защищать идею переезда и постаралась свыкнуться с ней. Но по ночам, когда не спалось, или по вечерам, когда Марио не было дома, ее охватывал страх, который все рос, обращаясь в ужас, и схватывал за горло, и заставлял желать всеми силами, чтоб все оказалось лишь ночным кошмаром, и долго, долго, всю жизнь, покуда они не состарятся и Ромуло не заведет свою собственную семью, все оставалось по-прежнему и жизнь текла так же, как до сих пор, несмотря на материальные затруднения, несмотря на то, что ей уже не хотелось подражать неживой жизни родителей, и несмотря на то, что в Марио уже проявилась едва заметная перемена от одной только мысли о его плане, придававшей ему новые силы.

Теперь выяснилось, что все не так плохо, как представлялось издали, хотя она по-прежнему страшилась сельвы, ее ядовитых змей, ее пустынной тишины, полнящейся звуками по ночам. И порою, когда они возвращались из поселка, под дождем, по колена в грязи, поминутно поскользываясь и проклиная дорогу, она еще плакала и чувствовала себя несчастной, угнетаемой бездушным человеком, осужденной превратиться в огрубелую фермерскую жену. Никогда Дельба не ненавидела Марио так сильно, как в самые трудные минуты жизни в сельве; но в то же время она открыла в себе самой такую силу, о которой и не подозревала; и через эту свою силу научилась понимать новую силу любимого человека. И тогда ненависть переходила в любовь. Она не могла уяснить, каким образом чувство, только что казавшееся таким определенным и окончательным, в следующее мгновение превращалось в свою противоположность. Словно в ней жило два разных человека. И один из них и знать не хотел о другом; более того, даже и не предполагал, что другой существует, и все вращалось вокруг желаний первого, словно он был неделим. Но затем просыпался другой, и все прежние желания представлялись нелепыми и исчезали. Когда она отдавала себе в этом отчет, то спрашивала себя: который же из этих двух людей — действительно она, и нет ли еще людей, входящих в этот обманчивый образ, имя которому Дельба.

«Дорогая Дельба!

Здесь просто дивно. Пишу коротко, потому что надо многое сделать, а времени в обрез. Народ здесь простой и радушный, и каждый готов помочь чем только можно.

Ты даже не представляешь себе, какова сельва. Я тоже не представлял. То, что мы не раз видели в кино, просто карикатура. Когда я приехал, мне в первую минуту подумалось, что заниматься земледелием здесь будет невозможно. Но потом мне объяснили, как надо работать, и даже показали на деле, и теперь мне кажется, что это не так уж трудно. Во всяком случае, не невозможно.

Местность здесь здоровая. Малярию давно уж отсюда выселили, и на этот счет ты можешь быть совершенно спокойна. Думаю, вообще ты ни о чем беспокоиться не должна — издали все кажется гораздо страшнее, чем на самом деле. Здесь живут и работают многие, кто начинал, как мы, и тоже никогда раньше не думал превратиться в земледельца. И родом они к тому ж из самых разных мест. Вчера под вечер мы все собрались в гостинице для туристов — как только тут узнали, что, возможно, появится еще один колонист, так вся округа сошлась посмотреть на меня. Ну, в общем, было нас человек двенадцать. и угадай, сколько национальностей было тут представлено: **ОДИННАДЦАТЬ**, не меньше.

Дорогая Дельба!

Вчера не смог отправить письмо и заканчиваю сегодня. Мне показали участок, который, пожалуй, подойдет. Хозяин — здесь, кажется, у каждого кусочка сельвы есть хозяин — его даже в глаза не видел, и можно начать хлопотать, чтоб участок объявили заброшенным, и тогда мы сможем его купить. Не так уж все это сложно.

Участок невелик, не больше шестидесяти гектаров будет, но очень хороший и живописный, и человек, который мне его показывал — толковый старик, его зовут Эсколастик, — сказал, что почва великолепная. Мы обошли его, насколько успели, и нашли ручей, вода очень прозрачная, там рядом можно и дом строить.

Все будет хорошо, вот увидишь. Наш план не такой уж безумный, как ты думаешь. Когда поедешь сюда, я хотел бы.

чтоб не на самолете, — так ты больше поймешь и наверняка почувствуешь то же, что сейчас я. Что бы я теперь тебе ни говорил, будет мало для того, чтоб ты составила себе ясное представление. Когда движешься по проезжей дороге или по тропе, кажется, будто и с одной стороны и с другой возвышается зеленая стена».

Целый год потратил Марио на то, чтобы пробиться сквозь дебри министерских «заявление подают на гербовой бумаге», «оставьте на столе для заявок», «сегодня приема не будет», через начальников, цепляющихся за свой стаж, — «еще не явился», через директоров пожизненно — «он в отпуске», «приходите позднее», «подайте ходатайство», через чинов, слишком заважничавшихся для того, чтоб подписать решение о запущенности участка в каких-то шестьдесят гектаров, — «приходите завтра», «он только что вышел», «приходите на той неделе», «завтра будет принято решение», «приходите в следующем месяце», «он сейчас совещается с министром», «приходите в будущем году», «подождите минутку, он сейчас выйдет», приходите, приходите, приходите.

Этот год он в основном посвятил бесполезным ожиданиям в приемных, потому что нужный чиновник не являлся и не думал являться, или уже смылся куда-то, или вовсе не собирался его принять, или заставлял ждать нарочно, чтоб он убирался к дьяволу, или вообще не понимал, какого рожна ему надо.

И в этот год он открыл, что сельва была необитаема, и что никакого плана возделывания ее не существовало, а все было лишь собранием пустых, напыщенных слов и красноречивых законов, мертворожденных законов, недоношенных законов, и что ни одному кретину нет дела до того, что он хочет стать колонистом.

И в этот год он удивился себе самому и тому упорству, с каким снова и снова разъяснял важность и срочность того, что намерен предпринять, однообразной веренице тусклых глаз, устремленных на него с бессмысленной тупостью, выработанной из «мне-то какое дело».

И в этот потерянный год он уже готов был сдать и подчиниться старому условному рефлексу колониального толка,

что, мол, в этой стране ничего делать нельзя.

И этот год заключился отчаянным рывком:

— Послушайте, сеньор директор, я ушел со службы, продал всю обстановку, фактически расстался с городом. На следующей неделе я должен ехать в Тинго Мария, а у меня на руках нет еще документа, по которому я получаю участок.

— Я вам уже сказал: поезжайте спокойно. Я говорил с министром, и он согласен, что вам нужно помочь, потому что ваше начинание весьма ценно.

— Но я не хочу, чтоб мне помогали, я хочу только кусочек земли в сельве, который смогу обрабатывать.

— Поезжайте в Тинго Мария. Все в порядке, министр даст свою резолюцию на подпись президенту на ближайшем совещании.

— А завтра министра снимут, и я окажусь на улице.

И верно, на следующий день министра сняли, и директор отдела земледелия и лесоводства в министерстве агрикультуры трясся от страха, решив, что у Марио бóльшие связи, чем кажется, и, возможно, новый министр — его дядя или что-нибудь в этом роде, и даже не успеешь уже проверить. Так что первое, с чем он обратился к новому министру, который, разумеется, не был ничьим дядей и в жизни не слышал о Марио, была просьба дать на подпись на первом же совещании документ, разрешающий продажу с выплатой в течение десяти лет маленького участка в шестьдесят гектаров, на который указал Марио старик Эсколастик и по которому протекал знакомый нам ручей с прозрачной водой.

Но муравьи ничего об этом не знали и знать не могли.

Когда Марио набросился на них, сметая с почти уж голого апельсинового деревца, они узнали только, что должны защищаться. В настоящее время они больше не смогут накапливать свежие листочки в своем гнезде, увеличивая зеленый шар с перебродившим соком. Явилась невидимая сила, убившая многих из них, и это значило, что они должны прибегнуть к предосторожностям. Первая была покинуть дерево, ставшее местом самым опасным, а затем они должны немедленно спрятаться и замереть. Они знали, что натиск продлится недолго

и лучше всего не двигаться, пока эта большая сила их бьет.

Те муравьи из находившихся на деревце, которые не были сметены, кинулись на землю, спрятались как можно лучше и остались недвижны. Знаменосцы с зелеными листочками последовали их примеру, побросав предварительно свои знамена. И все остальные действовали так же.

Тем временем пляска смерти продолжалась — невидимая сила то там, то тут давила и убивала муравьев. Те, что были вблизи ее попаданий, видели своих раздавленных товарищей, но не двигались и ограничивались тем, что переносили катастрофу, не понимая ее природы и ожидая, когда она кончится.

И она кончилась. Еще два-три удара — и затем тишина. Катастрофа кончилась, но предосторожности по-прежнему были нужны, потому что теперь опасность, угрожавшая им, стала гораздо большей. Они знали, что бойня, которую они только что перенесли, — ничто по сравнению с тем, что еще может предстать. Они не могли уяснить почему, но чувство, что опасность не отступит, проснулось в них и не проходило. Они должны были помешать опасности дойти до гнезда. После этого ужасного избиения разрушающая сила станет искать гнездо, проникнет в него, разрушит и окончательно покончит с ними.

Они не могли покинуть гнездо, но не могли и вернуться в него прямым путем, ибо так опасность последует за ними и войдет с ними в гнездо, и это будет конец. Опасность прилипла к ним.

В одно мгновение все муравьи узнали, что настал час возвращаться в гнездо; но не как в обычное время, а отлепившись от опасности. Она попытается последовать за ними, но не сможет.

Колонна шириной в протянутую руку начала свой обратный путь, но в сторону, противоположную той, где находилось гнездо. Она двигалась так, не отклоняясь, довольно долго. Метр за метром колонна удалялась от гнезда в направлении сельвы и уже у самого края апельсинника ушла под сгнивший ствол, изменив направление, чтоб пройти под ним во всю его длину; выйдя с другого края, колонна снова изменила направление и углубилась в чашу. Там нашла она другой сгнивший ствол и тоже прошла под ним во всю его длину, но, выйдя с другого

конца, снова ушла под ствол, однако на сей раз передвигаясь вверх ногами по коре, пока не вышла с того конца, с какого вошла. Здесь совершилась новая смена направления, чтоб обогнуть большое дерево, а потом — по прямой к самому сердцу леса по обширному пространству, покрытому сухими листьями. Муравьи продвигались под тюфяком из золотых листьев, и только если смотреть изблизи, можно было угадать это легкое подземное дрожанье.

Много после колонна обрела большую определенность в своем пути. Зигзаги и перемены были как бы поиском, робким нащупыванием еще неопределившегося направления. Но мало-помалу муравьи взяли курс к своему жилищу. Они по-прежнему постоянно меняли направление, но теперь все больше приближались к гнезду.

И на одном из всех этих поворотов колонна столкнулась с немим кроталом. Змея спала, круто свившись. Муравьи не обратили на нее внимания и попросту стали перебираться по ней. Но змея знала, что муравьи — это смертельная опасность, от которой нет иного спасенья, кроме бегства, и, едва почувствовав их на своем теле, выпрямилась стремительно, несколько раз с силой ударила по ним хвостом и помчалась неведомо куда с невиданной быстротой, сжимаясь и подпрыгивая, как пружина.

Пред этим новым натиском муравьи замерли на мгновение, поняли, что дело идет не о прежней опасности, а о незначительном препятствии, и продолжали разрабатывать свой сложный маршрут. Они так никогда и не узнали, что враг не пытался за ними следовать и что все их усилия направить опасность по ложному пути были бесполезны. Позднее, когда опасность достигла наконец их гнезда и уничтожила их самих, немногие выжившие не связали ее с таинственным врагом, обратившим их в бегство сколько-то времени назад.

Между тем ужас овладел кроталом. Прыгая, словно в безумии, змея продолжала свое отступление сквозь бурьян, поминутно ударяясь и не чувствуя ударов, падая меж спутанных веток и раскручиваясь со стремительной силой. Так обогнула она лес и внезапно поняла, что опасность осталась позади.



И замерла на миг, невидимая в высоких травах, сердитая, и медленно поползла вперед. И так она очутилась пред чистым косогором, засаженным апельсиновыми деревьями.

Картина была привычная и унылая, но для Марио была всегда приятна, ибо означала конец пути, неизменно утомительного. Дорога описывала крутой поворот и внезапно переходила в главную улицу города — имени Антонио Раймонди, — пыльную летом и топко-грязную зимой, подобно оси пересекающую весь Тинго Мария, главный город провинции Леонсио Прадо в департаменте Уануко.

Тинго означает слияние двух рек, а Мария звали, по слухам, одну старую женщину, которая содержала на этом месте постоянный дворик в те далекие дни, когда прокладывали дорогу. Пришла смерть и прошло время — и заведение Марии превратилось в этот сонный и тихий городок, встречающий и провожающий грузовики, что отправлялись из Лимы по понедельникам, средам и пятницам, и те, что направлялись в Лиму по вторникам, четвергам и субботам. Лима была близко и далеко: всего пятьсот километров, но два долгих дня пути благодаря ужасному состоянию того, что пышно звалось Главным Шоссе.

К югу возвышался лесистый холм, профиль которого смутно напоминал человека, спящего на спине, получивший имя Спящая Красавица благодаря удачному ракурсу, в каком его снимали. Спящей Красавицей стали называть и весь поселок, что встретило одобрение туристов — из-за холма, и самих жителей — из-за тщетных, но неумирающих надежд колонистов.

Вот это и был Тинго Мария. Десять тысяч жителей, два километра в длину на один в ширину, одна больница, один кинотеатр, два банка, один клуб, который периодически то закрывали, то вновь открывали, одна католическая церковь и одна евангелическая, один публичный дом под вывеской «Оазис», одна радиостанция, одна жалкая газетенка и несколько футбольных и баскетбольных команд. В километре от города теснились на крутом берегу реки корпуса и флигели Отеля для Туристов, расписные и живописные, а еще за километр тянулись постройки, сооружения и домики Опытной станции. Те, кто приезжал из Лимы наземным путем, натыкались в первую

очередь на эту Станцию и бывали приятно удивлены, увидев маленький поселок, построенный со вкусом, аккуратностью и тщанием. Но уже через три минуты приятное удивление сменялось унынием при виде невзрачной улицы Раймонди с ее лепящимися друг к дружке лавчонками, с ее ресторанчиками сомнительной репутации, с ее площадками для садилов без садилов, с ее пылью летом и грязью зимой.

Но городишко, как ни был невзрачен, процветал или, во всяком случае, разрастался. Правда, некоторые предприятия лопались, но их место и помещение немедля занимали другие, и последние заботы бывшего владельца заменялись первыми заботами нового.

Марио вошел в городок вместе с шофером грузовика, не миновавшего все-таки хижину Эсколастикo, и они застали улицы в праздничном убранстве. Повсюду флаги, красно-белые гирлянды, огромные плакаты, благодарно возвещающие, что добро пожаловать СЕНЬОР ПРЕЗИДЕНТ. Поспешные потуги садового искусства придали приемлемый вид пустым площадкам, окаймленным крашеными белыми камешками, и канавы представляли чистыми от мусора и сорняка. Многочисленные громкоговорители орали со столбов и деревьев военные марши и — горожанин, проникшись сознанием, что общаешься с правительством. Казалось, на улицах были люди со всей округи. Фермеры приехали из своих глухих углов, и школьники из местностей, удаленных на сорок километров, толпились с флажками на площади у кинотеатра, избранной местом встречи высокого гостя, для чего был воздвигнут помостик, весь во флагах и с микрофоном.

Городок походил на провинциала в воскресном костюме, самом лучшем, но не самом удобном, и даже не слишком красивом и не слишком к лицу. Подобное превращение было неприятно, ибо претендовало на торжественность, которой не было, поскольку бросалось в глаза, что вся эта мишура скрывает повседневную жизнь, единственно реальную и весомую.

В это мгновение громкоговорители пролаяли: «Вниманию полиции! Вниманию полиции! Остановить все движение транспорта между городом и Опытной станцией».

Черт их дери. Теперь придется идти пешком до Станции. И в эдакую жару.

Марио прекрасно знал, какое впечатление произведут вначале на Дельбу и сам лес, и тростниковая хижина с пальмовой крышей, где им придется жить. Каждый раз, когда он возвращался в Лиму из предварительных поездок, которые должен был предпринимать до окончательного переезда в сельву, он часами изливал свои восторги по поводу Тинго Мария и участка, о котором хлопочет. Он столько об этом говорил, что всем надоел, кроме Дельбы, которая угадывала за этим краснобайством героические усилия заставить ее видеть все, как хотел видеть он, а не как оно было в действительности. Поэтому она старалась заразиться радостным воодушевлением мужа, правдивым или наигранным, понимая, что в сущности ничего не выиграет, если станет задумываться. И Марио продолжал всеми средствами разукрашивать тот неизбежный день, когда он, Дельба и Ромуло должны будут пересечь реку Тулумайо в маленькой лодке, со старым Эсколастиком на веслах, чтобы затем углубиться в сельву по тропе, полной вязкой грязью, буревалом и тишиной. Тогда говорить будет поздно. Он знал, что, хотя Дельба будет в эту минуту с ним и с их сыном, она окажется наедине с сельвой.

Марио заранее позаботился о том, как лучше принять Дельбу, потому что под конец они решили, что она полетит, а он встретит ее, когда уж все будет готово. Он расчистил тропу насколько возможно, воспользовавшись помощью Эсколастиком, позвавшего еще и соседей. Затем проверил, суха ли лодка, чтоб перевезти их, когда они приедут из города. Затем, насилиу набрав денег, нанял крохотный домишко из построек Отеля для Гуристов, чтоб провести первый день и первую ночь. И наконец, перетащил на ферму небольшой керосиновый холодильник, бывший в употреблении, который он купил в рассрочку; накануне приезда семьи он проверил его и наполнил бутылками пиwa и минеральной воды, маслом, молоком, мясом, фруктами и зеленью.

Все обошлось благополучно. Дельба и Ромуло приехали уставшие с дороги, но она не испытала сразу же страха, как жда-

ла. Много лет спустя вспомнят они все это как непреложный миг их жизни, как начало нового ее строя, который настанет уже навсегда. Их особое навсегда, разумеется, но которое будет столь же долгим и окончательным, как само это слово.

В эту ночь в гостинице, хоть и усталая, Дельба захотела, чтоб все произошло. К счастью, Ромуло уснул очень крепко, и они свободно предалась друг другу, испытывая радость, которую научились делить поровну. Это тоже прошло хорошо, и после тихих вскриков и постанываний, какими она встретила эту радость, и глубоких благодарных вздохов, какими с ней прости-лась, она смолкла и затихла. Сельва начиналась счастливо.

На следующий день, спозаранку, после завтрака, когда лес был еще свеж и прозрачен, они отправились в таверну Эскола-стико на грузовичке, который Марио нанял накануне. Лодка была суха и чиста, и старик, спокойный как всегда, перевез их без приключений через Тулумаю. И оставил одних в ожида-нии Фиделя и батраков, которые намеревались их встретить, но еще не прибыли.

Это была единственная помеха. Они оставили багаж на берегу реки и пустились в путь по тропе. Они шли минут пять, прежде чем столкнулись с батраками, бегом поспешавшими им навстречу, и пока шли, не обменялись ни единым словом. Даже у Ромуло не хватило времени решить, на что ему жало-ваться. Однако все трое, каждый по-своему, чувствовали, что вступают в нечто новое. Не просто проходят через что-то, как бывало ранее, но именно вступают. И Марио вспомнил первую ночь после свадьбы, когда проснулся очень поздно и долго смотрел на Дельбу, спящую рядом с ним первый раз, и сказал себе: господи, что я сделал? И Дельба вспомнила первый сла-бенький пинок, что дал ей Ромуло, когда еще не был Ромуло, и испуг, который она испытала, поняв, что внутри у нее ребенок, сотворенный в ней мужчиной. И Ромуло, которому еще нечего было вспоминать, сохранил в памяти первое сильное впечатле-ние, которое годами позже побудило его мечтать и творить.

Этот первый переход по дикой тропе был трудным испытанием для женщины и ребенка. Все воображаемые страхи, какие являлись Дельбе в ее мечтах, уступили место чему-то реально-

му, осязаемому, угнетающе близкому. И над всем этим было «навсегда», которое она твердила себе, навсегда. Это вот и будет навсегда, во всей своей дикой и пугающей суровости, которую и самой долгой привычке не смягчить. Однако привычка все смягчила до такой степени, что впоследствии Дельба научилась ходить босиком по этой самой тропе, утопая в грязи; но всегда несла в руках туфли и, проходя мимо хижины какого-нибудь соседа, обувалась, чтоб разуться чуть погодя, когда уж будет не видна. Чтоб люди не видели, как она босая по грязи шлепает, уверяла она.

В тот раз Ромуло вел себя прекрасно, пока не обнаружил муравьев, которых видел впервые в жизни. Невозможно было заставить его сделать еще хоть шаг по земле. Он принялся громко, судорожно плакать и дрыгать ногами в непритворном испуге, и Марио должен был нести его на плечах до самого дома. Однако много раньше, чем Дельба приучилась ходить босая, Ромуло привык ко всему и был единственный, кто полюбил ходить по тропе, когда там грязь была такая глубокая, что иной раз он проваливался чуть не по пояс, смеясь и крича, пока Марио возвращался, поругиваясь, чтоб его вытащить, потому что мальчик всегда отставал.

С течением времени подобные случаи стали самыми стойкими воспоминаниями из многих, витающих над этой тропой. Муж и жена никогда не смогли забыть, как сердились и кричали на Ромуло, подгоняя его.

— Здесь мы и будем жить?

Это был вопрос, и протест, и изумление, и покорство — то, что вырвалось у Дельбы, когда она увидела их домик в первый раз. Потом она вошла, и с той минуты, как вступила на прогибающийся пол из луба, это стал ее дом и другого для нее не было.

Она открыла холодильник, словно делала это каждый день, вынула бутылку минеральной воды и наполнила себе рот и грудь прохладой, которой ей так не хватало в эту минуту. Пила и пила, чувствуя такую жажду, как никогда раньше, утерла подбородок тыльной стороной руки — и продолжала пить большими глотками.

Закрыла холодильник, провела рукой по его белой поверхности, немножко поцарапанной, и увидела, что Марио посадил Ромуло на пол и смотрит на нее. И в эту секунду поняла многое, до конца, но так молниеносно, что не было времени задуматься, и мысль в секунду оборвалась. Это было все — одна секунда, пока она встречалась взглядом с Марио.

Оба вдруг заметили, что давно уж не нарушают молчания, и рассмеялись. Тогда она поцеловала его губами, ледяными от холодной воды, и начала обходить весь дом, ничего не спрашивая у Марио, ибо, хоть Марио и построил его, она намеревалась отныне дать ему жизнь.

Семь машин президентской свиты были черные и длинные. Караван змеился по дороге, предварительно уравниваемой для данного случая, и поскольку уже давно не было дождя, подымал за собой белые тучи пыли, пощадившие только президентскую машину, которая шла впереди. Пассажиры остальных глотали пыль с тихим смиренным.

Несмотря на привычку произносить речи повсюду, Президент мысленно твердил то, что скажет, как только окончится эта проклятая тряска, на приеме, ожидающем его в Тинго Мария. Настоящий вояж он считал весьма важным, не из-за Тинго Мария, разумеется, и не из-за всего района со всеми его обитателями, но из-за общенародной и международной огласки, какую получит подобное его внимание к сельве и возможностям, какие она таит. А она таит их? По правде сказать, не столь важно, таит ли, но важно, что так оно выглядит. Все доклады, представленные специалистами, были обстоятельны и серьезные, но он не особенно доверял этим докладам; специалисты всегда лелеют мечту о том, что все таит возможности, и совершенно невозможно растолковать им, на каких возможностях следует заострить внимание. Характерной чертой всех планов и проектов касательно сельвы было то, что в них непременно подразумевался долгий, очень даже долгий срок исполнения, и потому они могли носить показательный — и показательный — характер. Иными словами, представляли благодатную почву для того, чтоб было много шума и мало дела или попросту не было дела.

Несмотря на то что речь он составил неделю назад, алькальд

Спящей Красавицы мысленно повторял затейливые фразы, настоятельные просьбы, вечные благодарности, патриотические начинанья и постоянные попеченья правительства о развитии района перуанской сельвы. (Пауза на аплодисменты.)

Знатные лица города, и сам алькальд с ними, сгрудились на обочине, неподалёку от Опытной станции. И вот уже битый час обильно потели на самом солнцепеке, сдавленные галстуками и парадными костюмами, к которым не привыкли. Но были довольны, потому что приготовления к приему Президента пока что шли удачно, а на его визит возлагалось много надежд. Наконец-то верхи вспомнили о районе сельвы.

Марио быстро шагал по направлению к Станции. Он хотел успеть раньше, чем покажется президентский кортеж. Может, удастся переговорить со специалистом по муравьям. А есть ли специалисты по муравьям? Тарабарщина, несущаяся из громкоговорителей, осталась позади и доносилась лишь слабым эхом. Марио был весь в поту.

Наконец он завидел группу, выстроившуюся для приема Президента.

Змея замерла, следя за поворотами мельничного колеса.

Ромуло творил красоту.

Далеко не сразу и с большим трудом ему удалось привесить к мельнице хрустальный бокальчик с отбитым краем, давно уже хранившийся в его заветном сундучке. Затем, с беспредельным терпением, он долго прикреплял проволочкой большой гвоздь к одной из спиц колеса. Потом пустил колесо, которое придерживал веревкой, и стал опускать и подымать подвешенный бокальчик до тех пор, пока не добился, чтоб гвоздь ударял о бокальчик при каждом повороте колеса. Меланхолический звук, словно рожденный водою, поплыл в воздухе, и в тот самый миг, когда его последнее дрожанье уже угасало, другой звук возник из глубины первого, и затем еще звук, и еще, и еще, безостановочно, как ровный и ясный пульс жизни, не знавшей борьбы за жизнь, разливаясь до самого края тишины.

Ромуло застыл в восторге, никогда еще им не испытанном. В это мгновенье он не смог бы сам оценить всю огромность своего переживания. Он чувствовал то, что чувствовал,— и

только. Позднее, много позднее, он вспомнил бы это и понял бы, что через него прошел великий свет.

Ромуло не осмысливал своей жизни. Дума и волнение, чувство и движение — все было неразделимо. И не имело даже имени. Он входил в соприкосновение с окружающим особыми путями, ибо жил в мире более тонких связей, чем мир взрослых, а они не знали об этом.

Ромуло поражался слепоте своих родных по отношению к очень важным вещам, а существовало такое множество важных, необычайно важных вещей...

Рука отца, например, — что могло быть важнее? Чувствовать, как твою маленькую руку сжимают сильные мужские пальцы, — это было так важно, так нужно для жизни, что он просто не понимал, почему отец так скупится, так редко и небрежно делает это.

А поцелуй матери, и как она бывала с ним заодно, когда ему грозил какой-нибудь выговор от отца, и как ласково хлопала его пониже спины, подтыкая одеяло, или как осторожно добилась, что Марио исправил-таки мельницу. Но Ромуло знал, что для нее все это неважно; во всяком случае, не важнее тысячи мелочей, из которых состоит день. И хотя не додумывал до конца, мальчик спрашивал себя: неужели эти вещи никогда не были важны для родителей или он сам — странный?

Существовало также плохое, но тоже очень важное. Когда родители спорили или ссорились, он чувствовал, как что-то сжимается у него внутри и душит его. Рождались пред его взором, бледнеющим от страха, силы, не обладавшие смыслом, но которые все перевешивали, оставляя его в стороне, заставляя присутствовать при том, как мужчина и женщина говорят друг другу необратимые слова, такие важные и такие разрушительные, что уж никогда, никогда не смогут их забыть. И несмотря на это, через несколько минут или несколько часов гроза рассеивалась, его родители сбрасывали с себя ненависть друг к другу и вспоминали о нем. Однажды гроза длилась несколько дней и постепенно превратилась в жесткую отчужденность, словно они надели маски, навсегда прилипшие к их лицам. Тогда Ромуло подумал, что в конце концов, после



стольких попыток, им удалось погибнуть и погубить его. Он надел на лицо ту же маску, только где-то пряталась в ней далекая грусть. Но однажды ночью, когда его разбудил гром, он увидел, что его родители зажгли лампу на ночном столике, и принялся наблюдать за ними сквозь щель перегородки, разделявшей комнаты. Мужчина и женщина были очень близко друг к другу, обнимаясь и целуясь с такой силой, какой он не замечал в их каждодневных поцелуях и объятьях, и в то же время старались сблизить еще теснее свои тела, словно чтоб они соединились в одно. Он никогда не смог бы себе вообразить, что его родители могут так придвинуться друг к другу, ни что они так любят друг друга, чтоб суметь это сделать. Правда, в это мгновение для них ничто не существовало, даже он, но было страшно и вместе хорошо увидеть начало всего и смутно осознать причину, по которой Марио и Дельба и он сам живут вместе, в равенстве, которое не рухнет и не может разрушиться никогда. На следующий день та гроза тоже прошла, и хотя Ромуло не до конца понял то, что видел прошлой ночью, но чувствовал себя более важным человеком оттого, что он это видел, и от сознания, что он тоже откроет когда-нибудь тайну, которую его родители открыли, но почему-то не разделили с ним. Он ничего у них не спросил; они не знали, что он знает, и так было лучше, словно их тайна была и его тайной.

Еще одного не понял Ромуло: как это его родители так быстро забыли Мендельсона. Как-то раз Марио, вернувшись домой, принес на спине крохотного бычка; бычок был из рода зебу, и он купил его на Опытной станции задешево, потому что животное было в ужасном состоянии. Казалось чудом, если бычок выживет, но заботы мужчины и женщины свершили чудо, и Мендельсон рос рядом с Ромуло, только гораздо быстрее... В три года он стал огромным быком и огромной проблемой. Он был общий баловень, и никто его, разумеется, не боялся, но когда они втроем возвращались на ферму из поездки в город, он встречал их как верный пес, прыгая и тычась в них мордой, не считаясь при этом с тремястами килограммами своего веса.

Дружба между мальчиком и быком завязалась с самого начала, естественно и весело, несмотря на растущую разницу в росте и несмотря на то, что выросший теленок так и не приобрел солидности взрослого быка.

Каждое утро Мендельсон подходил к крыльцу за своей порцией соли. И почти всегда получал ее именно от Ромуло, из его маленьких ладоней, сложенных лодочкой, и огромный язык, шершавый и влажный, слюнявил мальчика с ног до головы, к полному удовольствию последнего. Случалось не раз, что огромная голова проламывала перила крыльца, протягиваясь за солью.

В конце концов Марио решил продать Мендельсона, не из-за этих неудобств, а просто потому, что маленькая ферма не была приспособлена для содержания скота, а средств на какую-либо перестройку в настоящий момент не было. Дело в том, что и банановые и апельсиновые насаждения очень страдали, когда бык там резвился, а изгороди, чтоб уберечь их от него, не было. Купил его один мясник, который явился за ним как-то поутру и тут же набросил ему на шею лассо. Мендельсон никогда не знал привязи. Он постоял недвижно несколько секунд, словно думал. Потом понял, издал короткое мычанье, рванул ремень из рук мясника, опрометью кинулся к большому дереву, растущему на краю бананника, с размаху ударился о него и упал мертвый. Мяснику пришлось свежевать его на месте.

Ни Марио, ни Дельба не могли есть мяса целый месяц, но в конце концов забыли Мендельсона. Только Ромуло не забыл. Это была первая трагедия в его жизни, и она словно прорыла в нем ров, по которому его чувства текли теперь в другом направлении. Долго не мог он простить своих родителей, но потом простил, вернее понял.

Что-то в глубине его существа формировалось для взрослой жизни, и он знал, что станет взрослым. Но не мог понять, как перепрыгнет ту бездонную пропасть, которая отделяет его сейчас от мира взрослых. Ибо не было никакой истинной взаимосвязи между ним и его родителями. Кроме любви. Ромуло не смог бы объяснить, что такое любовь. Его родители тоже не

смогли бы. Но любовь Ромуло и не нуждалась пока что в объяснениях и словах; его рассудок не требовал еще, чтоб он задержал впечатление с целью осознать его; и он любил все своей особой любовью.

И в этой любви после родителей шли мельница и его игрушечный городок. Мельница была жизнь городка, и он любил ее за то, что она движется, а в его мире еще без определений движение означало жизнь. Однако ему не с кем было поделиться своей мельницей. Марио и Дельба попросту ее не видели. Иногда они упоминали о ней, и отец помог ему ее построить и время от времени чинил; но она оставалась для них невидима. Сколько раз в день они проходили мимо и говорили ему: иди поиграй со своей мельницей. Но они ее не видели. И теперь, когда она издавала эти чистые, ясные звуки, Ромуло спрашивал себя, слышат ли они их. Когда он играл в своем городке, он был одинок, но не грустен. Хорошо, что существовало что-то для него одного.

Дельба открыла дверцу печи, чтоб сунуть хлеб. Марио отыскал специалиста, знающего толк в муравьях. Ромуло растянулся ничком на земле, чтоб лучше укрепить шест, увенчанный битым бокалом.

В этот момент змея ужалила его в ногу.

Все стали кричать: едут, едут!

Рыльце черного автомобиля показалось вдали, подняв за собой плюмаж белой пыли.

Марио слушал внимательно.

— Во всяком случае, вы должны разыскать муравейник. Тогда надо насыпать внутрь побольше порошка. Он продается в двухфунтовых пакетах; можете высыпать весь пакет.

— А как я разыщу муравейник?

— В них обычно несколько наружных отверстий.

— Это еще хуже.

— Их надо все найти. Но даже если вы найдете одно, этого довольно: пустите туда под давлением струю дыма, и он станет выходить из остальных. Это совсем просто. Я могу одолжить вам специальный аппарат.

— И я окончательно избавлюсь от муравьев?

— Не окончательно. Надо и дальше следить. Но можно наладить борьбу с ними. Извините. Пока.

Агроном присоединился к группе, окружившей алькальда.

Марио остался один посреди дороги, по которой должен был проехать президентский кортеж. Ему не оставалось иного выхода, как тоже подойти к группе именитых граждан, ожидающих Президента, вытянув шею и поминутно поправляя узлы галстуков.

Червь пыли подползал уже близко, и внезапно Марио стало любопытно взглянуть вблизи на человека, который сколько-то лет назад поставил свою равнодушную подпись под резолюцией о предоставлении ему участка. Они никогда не познакомятся. Этот росчерк был, наверно, самым неважным для Президента делом за весь год. Самым неважным за весь срок его правления. Но благодаря этому росчерку жизнь Марио круто переменялась. Он всегда будет помнить эту подпись. Тогда как для Президента она была лишь далеким движением руки, связанным с Марио не больше, чем опустошение, произведенное муравьями в его апельсиновом саду. Президент предоставил ему участок. Муравьи поедали его апельсиновые деревья. Дождь задержал выжег двух гектаров его земли.

Власти города решили, что Президент и сопровождающие его лица разместятся на Опытной станции. Это было все, что знал шофер президентской машины, хорошо знакомый с местностью. Вот и Опытная станция, вот главный ее павильон, весь во флагах, и здесь должно остановиться. Он увидел группу людей на развилке дороги, но не затормозил, еще не хватает! Сделал поворот на самой большой скорости. Другие машины последовали за ними... Именитые граждане начали было хлопать, но вдруг оказались в густой туче пыли, а когда что-то проступило, уже вереница машин стояла у главного входа, за пятьдесят метров от дороги. Невзирая на аплодисменты.

Растерянность именитых граждан длилась недолго. Посетовали на неуважение, подумаешь, задается, никакого воспитания, все потому, что у кормила — у кормушки, вернее, — черт знает что. Но, куда сетовали, бегом бежали к черным машинам, горячо аплодируя.

Марио остался один. Не удалось ему увидеть лица Президента. В конце концов неважно. Он побрел в сторону города.

Дельба уронила тесто, услышав крик Ромуло. Крик был особый, исторгнутый страхом, какого ее сын еще не мог знать. Она услышала его второй раз, уже опрометью сбегая с крыльца, и, обогнув дом, увидела мальчика, бегущего к ней навстречу.

Ромуло никогда не испытывал подобной боли. Первый крик вырвал у него укус, оставивший на икре ноги огненную точку, которая стала расти и расползаться. Тут он увидел хвост змеи, исчезающий в траве, и закричал уже от ужаса, устремившись на поиски матери.

Когда он столкнулся с нею, вся нога была охвачена болью. Но с ним была его мать, которая, конечно, сумеет утишить его страх и вылечить ему ногу. Он только должен плотнее прижаться к ней, полностью ей довериться и ждать. Она сумеет.

Но боль была так невыносима, что Ромуло не мог удержаться от плача и тяжких стонов, хотя и знал, что мать все поправит.

Дельба сразу поняла, что Ромуло ужалила змея. Но и сквозь испуг и смятение страшило ее отчаянное доверие, с каким сын прижимался к ней. Ромуло теперь действительно зависел от нее, и она не знала что делать.

Она справилась с собой и осмотрела ему ногу: вверх от икры разливалось сине-лиловое пятно, и вся нога опухала на глазах. Но осмотр ничем не мог помочь. Ромуло все кричал и плакал.

Она взвалила его на спину и внесла в дом. Схватила первую попавшуюся тряпку и попыталась туго перетянуть ногу сына, как раз под коленом, но не уверена была, так ли это делается. Стянула насколько могла, но знала, что этого мало. И слезы потекли по ее щекам.

— Надо ехать в город.

— Мне больно, мама, больно.

— Надо ехать в город во что бы то ни стало.

Дельба взвалила сына на спину, спустилась по ступенькам и побежала. Сбежала по крутизне плато, пересекла банановую

рошу и вступила на гропу.

Оставался всего один километр, но если он не поспешит, все магазины закроются до его прибытия. А из-за этой встречи Президента может случиться, что они не откроются до завтра.

Наверняка должен существовать какой-то способ борьбы с муравьями. Он зря волновался. Как бы плохо ни обстояли дела в Перу, так плохо они не могли обстоять.

Вы не знаете, с какого времени ведутся опыты с масличной пальмой? — шепотом спросило одно важное лицо, из недовольных. Нет, отвечивал Секретарь Президента. Наверно уж больше двадцати лет, ответило само себе важное лицо. Ах так, отозвался Секретарь Президента.

Между тем Президент созерцал большие красные плоды знаменитой масличной пальмы и слушал разъяснения директора Опытной станции. Данный проект был рассчитан как раз на длительный срок.

Ромуло кричал так раздирающе, что Дельба уже не знала, сын ли ее или она сама так кричит. Распухшая нога мальчика жгла ей плечо. На одном из поворотов тропы она встретила Фиделя, возвращавшегося с реки.

— Дайте я сделаю надрез, хозяйка.

— Нет, нет, Фидель. Надо отнести его в больницу. Поспешим.

— Надо сделать надрез и высосать кровь, хозяйка.

— Делай, что говорю. Бежим.

Управляющий поднял мальчика как перышко, и они побежали к реке. Фидель слышал крики Ромуло и как всхлипывает и задыхается Дельба. До чего жаль, что она не разрешила высосать ранку.

— Дайте сделать надрез, хозяйка.

— Поспешим. Теперь близко.

Это была правда. Река была уже слышна. Может, Эсколастик ее убедит, что они выиграют время, если разрежут мальчику ногу и высосут кровь из ранки. Какая это была змея? Будь она проклята. Они бегом достигли реки.

Магазины были еще открыты, но до города уже дошла весть, что Президент прибыл на Опытную станцию. Марио не

знал, куда кинуться, боясь, что не успеет купить средство от муравьев.

Эсколастико сделал четыре надреза крест-накрест вокруг места укуса. Вышло немножечко черной жидкости. У Ромуло уже не было сил кричать, он лишь стонал тихонько.

— Ему будет больно, хозяйка.

Дельба с Фиделем держали мальчика, когда старик приложил рот к ранке.

Президент уже устал слушать объяснения, которые его не интересовали, но задержал на лице выражение глубокого внимания. Установки Опытной станции впечатляют. Было приятной неожиданностью увидеть такое после того, как пришлось проезжать столько невзрачных поселков. Эти свершения его правительства не получили еще должной известности. Правда, правительство непосредственного участия не принимало, но это — частность.

Эсколастико вышел на середину дороги, и грузовику поневоле пришлось остановиться. Не ожидая, пока старик кончит объяснять шоферу, в чем дело, Дельба села в кабину с сыном на коленях.

Президент попробовал апельсинового соку местного приготовления. Закончив осмотр, свита с советниками, а также специалисты с Опытной станции с их соответственными женами собрались в большом зале, чтоб поднять бокалы за родину и выслушать речь алькальда. Но глава государства остался верен своему принципу: никогда не пить ранее десяти вечера. Так что он отверг стакан виски, но принял речь.

Ромуло удивлялся, несмотря на боль. Это была всемогущая боль, уже разлившаяся по всему телу. Плакать и стонать было бесполезно. Ему казалось, что в горле у него кол, по которому рубят топором. И, однако, он удивлялся. Почему его мать не прекратит все это? С первого же мгновенья он бросился искать у нее укрытия. Он не мог ошибаться в ней. Но тогда почему его мать испугана, растеряна и не прекращает этой боли? Правда ли она его мать? В мальчишке просыпалась глухая обида на женщину, которая его обнимала и целовала, плакала над ним и говорила ему ласковые слова, но не ответила на порыв, кото-

рый направил его к ней за жизнью. Он продолжал стонать от боли, но плакал теперь уже о другом.

Продавец не знал, что у них есть и чего у них нет в скобяной лавке. Хозяин ушел встречать Президента. Марио принялся осматривать полки, в то время как продавец делал вид, что ему помогает.

— Вниманию полиции! Запрещается движение всех видов транспорта между городом и Опытной станцией.

Грузовик ехал очень медленно.

— Скорее, скорее.

— Не могу, сеньора, у меня груз большой. Хуже будет, если опрокинемся.

Сидя в кабине, Дельба немного пришла в себя и новое чувство стало овладевать ею. То была печаль, всепоглощающая скорбь, которая, казалось, давно уже ждала случая, чтоб подступить к ней. Ее хотелось отринуть, но она все надвигалась, словно ничто не могло ее удержать. И Дельба поняла, с ужасом, что то было чувство, которое давно уже ей знакомо.

— Тинго Мария благодарит за честь и гордится Вашим посещением, сеньор Президент, ибо мы знаем, сколь велико попечение Ваше о нашем крае, о процветании той сокровищницы кладов, какой является, какой должна являться перуанская сельва.

Все захлопали.

Марио вышел на улицу с пакетом инсектицида в руках и узнал Дельбу в кабине проезжающего грузовика. Он бросился за машиной и нагнал ее на углу.

— Что случилось?..

— Официальный прием сейчас начнется, сеньор Президент. Город ждет Вас.

Ромуло чувствовал последнее время, что начинает думать. Все его игры были направлены на то, чтоб не потерять прямого восприятия жизни и отдалить момент, когда придется давать оценки. Он чувствовал, что окружающий его мир все более и более неудержимо отделяется от него. Близилось время, когда ему придется подумать о многом.

И вот теперь необходимость думать исчезла навсегда. Он чувствовал такую боль, что она не помещалась в его теле, высту-



пила наружу и теперь растворяла его во всем, что было вокруг. Боль уравнивала его со всем и все было лишь одной огромной болью. Исчезли слова и он погрузился в зыбь, где порою вырастал он сам, достигая размеров великана, а порою уменьшалось все кругом, сжимаясь до его детского роста.

Его мать перестала быть чужой женщиной. Он снова слился с ней. Это было как бы возвращение. Он чувствовал или вспоминал ее тепло, укрывавшее его, но чувствовал и боль, вытолкнувшую его на холод, которая была не его болью, но которою он тоже мучился.

Что-то в нем слушало его собственный плач, все более далекий и более слабый. И ему уже не к чему было говорить, потому что все было такое другое. Как странно, что прочим приходится говорить и произносить эти пустые звуки.

— Сыворотка у главного врача.

— Где главный врач?

— Ушел встречать Президента.

— Но где же сыворотка?

— Он держит ее под замком. Это новая противоземная сыворотка, которую мы недавно получили из Бразилии и только лишь можем...

Марио опрометью бросился из больницы.

Вдруг кто-то вспомнил, что церемония встречи будет происходить в городе.

Дежурный врач сделал несколько надрезов на распухшей ноге вокруг затвердения.

Жара была страшная, но Марио бежал и бежал по прямому отрезку дороги. На полпути он увидел кортеж машин, мчащийся на него с огромной скоростью.

— Сделайте что-нибудь, чтоб ему было не так больно.

— Это же яд, сеньора. Но не волнуйтесь. Думаю, мы на верном пути.

Ему пришлось так же бегом вернуться обратно. Никто не выслушал его.

Дыхание Ромуло становилось все слабее. С сомкнутыми веками, с плотно сжатыми губами, он, казалось, был далек от всего. Дельба не знала, как подступить к сыну. Ей страшно было

даже дотронуться до него, ибо все в нем выражало столько боли, что, казалось, он сломается от легчайшего прикосновенья. Тем не менее она робко протянула руку к руке мальчика. Нерешительно, подавляя в себе стремление крепко обнять сына, чтоб защитить от этого красного пятна, расплзающегося по ноге, она коснулась пальцем запястья Ромуло. Ничего не произошло. Она нажала сильнее, и тогда почувствовала, что он весь горит. Она не выдержала. Схватила маленькую руку, опустила голову и принялась плакать, как никогда еще не плакала, как не хотела плакать, как никогда уже не заплачет, ибо сознавала, что ее плач вызвало что-то неизбежное и роковое.

Он добежал до города весь в поту. Огромная толпа теснилась у помоста.

— Перу это не только побережье и нагорье. Необходимо приобщить к производству и прогрессу сотни тысяч гектаров земли, дремлющей под бесплодной опекой забвенья и равнодушия. Мое правительство наметило как самую желанную и благородную цель колонизацию сельвы в больших масштабах.

Последовал бешеный взрыв аплодисментов. Витийство оратора пало на благодатную почву. Президент вытер пот со лба левой рукой, покуда приветствовал толпу правой.

В это мгновенье Марио подошел к помосту и стал рассказывать одному из полицейских, что случилось. Вместе они разыскали главного врача больницы...

Он не знал, что с ним происходит.

Он знал, что еще стонет, но уже ничего не чувствовал. Все было теперь вне его, кроме руки матери.

Бедная.

Она плакала, и он не мог сказать ей, что ничего уже не чувствует, что это не он стонет, а кто-то другой, что все теперь хорошо. Как раньше.

Успокойся, мама. Не плачь. Мне уже не больно. С мельницей все в порядке. Папа ее починил и она вертится.

Папа, зачем ты продал Мендельсона?

Где папа?

Марио вбежал в приемный покой, волоча за собою доктора. Они подошли к мальчику. В это мгновенье стоны прекратились.

— Что с ним, доктор?

— Ничего страшного. Не волнуйтесь. Сейчас введем сыворотку.

Ввели сыворотку.

Со скорченным личиком и сведенными руками, Ромуло уже не дышал. Никто не сказал ни слова. Зачем?

Было бесполезно вводить сыворотку второй раз. Врач посмотрел на родителей. Так вот всегда. Они были строги и недвижны. Потом будет взрыв. Лучше вернуться на торжество.

Это было все. Ромуло ушел от них. Сын, бывший с ними всегда, даже еще до рождения, их покинул.

Никогда больше...

Всё никогда больше, подумала Дельба. Бесполезно определять что ушло. Смешение ее и Марио. Добавочная жизнь свободных часов на ферме, когда мужа не было, вдруг превратилась в воспоминание.

Ничто в нем не двигалось. Некому уже было чувствовать чудовищную боль последних часов. Лицо Ромуло, заострённое страданием, вдруг смягчилось, словно невидимая ласка коснулась его, сделав спокойным навсегда. Спокойным и исполненным мира. Никогда он не страдал, подумал Марио, только теперь. Единственный раз.

Сейчас оба постигли пустоту и тишину, окружившую их. Но не посмели взглянуть друг на друга.

Празднество длилось всю ночь.

В Отеле для Туристов был устроен банкет, потом начались танцы, продолжавшиеся до самого рассвета. Президент много пил.

В городе были организованы народные гулянья, и кабатчикам было чем поживиться. Зажгли фейерверк, и громкоговорители разливали над городом музыку до трех часов утра.

В три часа погасли огни и наступила тишина. Отдельные пьянчужки еще бормотали, спотыкаясь, песенки, но это лишь подчеркивало тишину. Празднество в Отеле продолжалось еще пару часов.

У больницы был свой генератор, и свет в помещении, где лежал Ромуло, горел всю ночь.

Ни Марио, ни Дельба не проронили ни слова. Боялись, что если заговорят, нарушится зыбкое равновесие, какого достигли, и тогда разразится нечто непонятное и ужасающее, что их утопит навсегда. Предпочитали задыхаться медленно, отдельно друг от друга, глядя на безмятежное лицо мальчика, его закрытые глаза, спокойные руки.

Утром Марио оставил скорчившуюся подле сына Дельбу и пошел хлопотать о похоронах. Дежурный врач, с покрасневшими от ночной гульбы глазами, составил свидетельство о смерти. Тело не могло быть предано земле до вечера.

В столярной мастерской он добыл маленький гробик. Затем нанял подводу для похорон, потому что в Тинго Мария дрог не оказалось. Не встретил ни одного знакомого. Все спали после бурной ночи. Никто не знал.

На этот день подготовили обширную программу для Президента и его свиты: посещение двух-трех ферм, осмотр экспериментальных насаждений масличной пальмы, тех, которым уже по двадцать лет, посещение рассадников кофе и каучука, завтрак у скотоводов, поездка по новому шоссе вдоль реки Уальяги, возвращение в Тинго Мария, прогулка по городу, отдых, праздничный обед в Отеле для Туристов.

Когда Марио и Дельба шли вечером на кладбище, городок Тинго Мария был фактически пуст. На улице Антонио Раймонди еще развевались красно-белые гирлянды и помост стоял еще не разобранный.

В километре от города, к северу, у самой дороги, находилось кладбище. Всем проходящим и проезжающим было оно видно, с низкой его оградой, все зеленое, полное цветов. Могилы едва проступали сквозь кусты и травы. Мало средств отпускалось на уход за ним, и сорняки разрастались здесь особенно пышно. Но оно не было печальным, ибо у сельвы свои представления о вещах.

Опустили гроб, засыпали могилу и воткнули в землю белый крест. Марио и Дельба остались стоять. Они были в пустоте и далёко. Когда-нибудь все может стать как было, но не теперь. Теперь невозможно даже смотреть друг на друга. Когда-нибудь они снова обнимутся, поцелуются, и эта тьма, что их

давит, отойдет, быть может; но не сейчас. И позднее, много позднее, они станут говорить о Ромуло, о том, каким он был, о том, каким мог бы стать,— какое горе!— о его шалостях, о его ласковом сердце.

Они вернулись домой на той же подводе.

Печальная весть уже дошла до таверны Эсколастико.

— Какая жалость, дон Марио...— Благодарю, Эсколастико.

— Пойдемте, я перевезу вас на тот берег.

Они переплыли реку и остались одни.

Марио боялся того, что еще предстояло: пройти по тропе, добраться до фермы, перешагнуть порог дома.

Но ничего не произошло. Правда, три километра показались длиннее, чем когда-либо, но ноги ступали уверенно сами собой, хотя уже не было Ромуло за каждым поворотом. И было странно, что его нет, ибо все случилось так быстро, что казалось невозможным, как это так легко можно совсем исчезнуть.

Они добрались до фермы, прошли через банановую рощу, поднялись на плато и вошли в дом.

Фидель и батраки уже знали и увидели их, но не осмелились приблизиться.

Дельба безотчетно вошла в кухню.

Марио надолго остановился у входа в спальню.

Дельба взяла тесто, которое не успела сунуть в печь, и выбросила. Уже не годится. Надо есть. Она стала готовить пищу. Не хотела плакать. Сейчас нет. Господи, какой будет эта ночь.

И тут Марио услышал слабый звон.

Что это?

Он сбежал по ступеням и попробовал понять, откуда это. Пошел по дорожке, подымающейся в гору. Звон приближался.

И вдруг он дошел.

Мельница вертелась и бросала в воздух свою кристальную ноту.

Обессилов, Марио присел над игрушечным городком и стал тихо плакать, не отводя глаз от колеса, которое вертелось, вертелось. Долго просидел он так. И мало-помалу, незаметно

для него самого, скорбь его подчинилась ровному ритму поворотов. Мелодические звуки, возникнув из разбитого бокала, расходились невидимыми волнами, и эти волны ударяли ему в грудь, и хотя он не мог их видеть, набегали на него со всех сторон, окружали, обнимали, проникали внутрь и наполняли его своей чистой песней, которая была единственным, что Ромуло успел создать.

И Марио стал на мгновение резонатором, в котором песня разбитого бокала могла дать простор своей радостной печали, которая была не минутным оттенком, а свойством этой песни, возникшим из самого ее существования.

И постепенно игрушечный городок стал разрастаться. Каждый поворот колеса, каждый удар гвоздика по стеклу укорачивал расстояние, отделявшее его от Марио. И скорбь по Ромуло, и звуки, и повороты — все вдруг слилось воедино. И хотя Марио продолжал думать об умершем сыне, он понял вдруг, что до этой минуты городок оставался для него невидим. И тогда извилистые улочки окружили его своими домиками и своим населением, церковный шпиль вознесся над его головой, и было теплое солнце по одну сторону, и была прохладная тень по другую.

Прошло время, и жизнь потекла своим путем. Марио и Дельба медленно шли навстречу друг другу, пока наконец не встретились над пустотой, оставленной Ромуло. И сама пустота незаметно для них самих становилась все меньше; и однажды, когда они попытались взглянуть в нее, ее уже не было.

В конце концов им удалось выжечь два гектара земли под посевы, и, хотя муравьи не исчезли, с ними легко теперь было бороться, как предсказывал агроном. Так кончилось это лето и начались зимние дожди. А потом и дожди кончились и вернулось солнце.

Игрушечный городок потихоньку разрушался. Ни Марио, ни Дельба не занимались им больше, но и не решились уничтожить. Меж домиками выросла трава, улочки опутались чертополохом; и, наконец, вернулась сельва.

А мельница Ромуло все вертелась. И все пела.

## *Часть 2*

**Все, что непонятно,— легенда**

## Пальмы...

С последним ударом ветра листья пальм омертвели и повисли, отдыхая от его резких налетов, державших их в трепете и напряжении долгие месяцы подряд.

И с последним ударом ветра легкий парусник вошел в бухточку у острова, неслышно скользнул по стальной и гладкой поверхности моря и, ослабив паруса, бросил якорь в тридцати метрах от пустынного берега.

Долгое время все было тихо.

С видимой усталостью в каждом движении мужчина стал готовиться к высадке. Затишье, опустившееся на остров, было таким полным, что он даже не позаботился спустить паруса. Ему подумалось, что это будет так же бесплодно, как обращаться к мертвецу или молиться. С той же усталостью, лишь еще более глубокой, женщина приблизилась, чтобы тоже высадиться на берег.

Мужчина и женщина сели в шлюпку, и он стал грести в сторону полуразвалившегося причала, а она, пока плыли, убедилась, что остров необитаем, но ничего не сказала и продолжала молча глядеть на пальмы, на четыре деревянных строения, на конус ветроуказателя у взлетной полосы, на баки с пресной водой, на пальмы, пальмы и пальмы.

Когда пристали к берегу и привязали шлюпку, мужчина огляделся и понял, что остров пуст, как паруса без ветра. Быть может, когда-нибудь он и был обитаем кем-нибудь, кто ставил перед собой какие-то цели. Но этот кто-то, кто бы он ни был, исчез так же бесповоротно, как ветер, и остров представлял теперь собою лишь пальмы, пальмы и пальмы.

В молчании и не глядя друг на друга, взяли пустые жбаны



и направились прямо к большому баку с дождевой водой, стоящему возле одной из деревянных построек. Еды у них было на несколько дней, но вода кончилась накануне, и теперь они спешили утолить жажду и запастись водой, пока она не успела исчезнуть, подобно ветру и обитателям пустого острова. Но бак был полон чистой и свежей воды, и, пока они пили, действительность возвращалась к ним, так что вместе с жаждой исчез и мираж. Они наполнили жбаны, плотно закупорили, оттащили в тень и остались стоять, не зная, что им теперь делать.

Все двери и окна были растворены, и покой был так нерушим, что не оставалось сомнения в том, что обитает здесь одна тишина. Не было ни малейшего шума извне, чтоб заглушить какой-либо звук изнутри. Дома были пусты. Все четыре.

Было слишком светло и солнечно, чтоб почувствовать страх, но все же они решили вернуться пока что на парусник. Когда они достигли его, все в том же молчании, мужчина протянул женщине руку, чтоб помочь взойти на палубу, и она приняла ее. В первый раз за несколько недель дотронулись они друг до друга. словно в попытке вернуться к привычному, мужчина приспустил и привязал паруса, в то время как женщина вылила воду из жбанов в бак на палубе. Покончив каждый со своим делом, они вернулись в шлюпку и снова направились к берегу. Им требовалось больше воды.

Одна из построек была полицейским участком; другая — местной Управой; третья, по всей вероятности, домом управителя; а последняя походила на гостиницу, законченную, но неоткрытую. На взлетной полосе, неподалёку от ветроуказателя, была жестяная кровелька, и под нею скамья на подпорах крестом, а немного подалее небольшой навес, из-под которого тянулись электрические провода. Асфальтированная дорожка соединяла все четыре строения наподобие узенькой набережной, на конце которой читалось: «Бульвар Бермудеса — 1944». Эта надпись была официальная, но однако не единственная; за два-три метра от нее были нарисованы детская рука и две собачьи лапы; а еще дальше большими корявыми буквами нацарапаны слова: «Это я».

Наполнив жбаны водой, мужчина и женщина пошли осматривать остров. Он имел форму буквы «у», и длинный конец ее, тот, где была взлетная площадка, длиною достигал всего лишь двухсот метров при тридцати в ширину; короткий конец был немного пошире, и повсюду высились пальмы, пальмы и пальмы.

Проходя мимо домов, можно было увидеть почти все их убранство сквозь отверстия дыры окон и дверей, а порою сквозь них просвечивало море. Дома были пусты, но не заброшены. Извне чувствовалось недавнее или ожидаемое присутствие кого-то, и порой мужчина или женщина вдруг оборачивались, чтоб еще раз бросить взгляд в глубину какой-нибудь комнаты, где им привиделось какое-то движение, или словно мелькнула чья-то тень; но все было недвижно. Закончив осмотр через каких-нибудь полчаса, они убедились, что каждый уголок острова безнадежно пуст. Но так и не осмелились зайти ни в один из домов и вернулись на свой парусник, унося жбаны с водою. Теперь все было готово к отплытию. Как только вернется ветер.

Но ветер не вернулся, и вскоре горизонт стал желтым, а потом заалел все гуще и гуще, пока не окрасился в лиловое, а потом и совсем почернел. Ни один огонек не зажегся, ни на острове, ни на паруснике. Мужчина и женщина остались сидеть на палубе, безмолвные и недвижные, глядя на море, на маленький причал, на берег с белым песком, на строения, все более темные, на звезды, на пальмы, пальмы и пальмы. Мало-помалу все исчезло у них из глаз и остались только звезды, а потом медленно надвинулись высокие-высокие тучи, заслонив и звезды тоже. Тогда только мужчина зажег фонарь.

Поев в полном молчании, они уселись на прежнее место, против невидимого теперь острова, и так оставались долгие часы, покуда темнота не проникла к ним в самую глубь, заволокла их воспоминанья и варианты воспоминаний и не оставила им другого выхода, чем искать во сне образы, исчезнувшие, быть может, навсегда.

Они проснулись на рассвете, в одно и то же время оба, с тревожным чувством, что им недостает чего-то. Спустились каждый со своей койки, и от их движения маленький парусник

закачался. И тут только они поняли, чего им так не хватало: качки. Они плавали уже около двух лет и никогда еще не попадали в такое полное затишье. Сейчас они почувствовали, что эта легкая качка — единственное, что их связывает, и решили высадиться на землю, убегая от мысли, которой оба стыдились и отгоняли от себя: что никогда уже не смогут выйти в море вместе и что этот пустынный остров — все, что им теперь осталось.

Они вошли в помещение Управы. Две канцелярии, спальня, маленькая кладовка и чуланчик с радиоаппаратурой, демонтированной. На стене более просторной комнаты — большая карта островов и календарь с числами, зачеркнутыми до вчерашнего дня. Это было учреждение, где работали, видно, мало, но все содержалось в порядке и комнаты были чисто прибраны. В пишущую машинку был вставлен лист гербовой бумаги, на котором была написана первая строка: «Высокочитимый сеньор!» — и проставлена дата, тоже вчерашняя. В спальне, явно мужской, кровать была аккуратно застелена. Один угол канцелярии был занят несгораемым шкафом, запертым на ключ, а на полу, почти под конторкой (их было две), белел лист бумаги, сметенный, очевидно, последним порывом ветра; женщина подняла его: он был пуст.

Они вышли из Управы и зашли в самый большой дом. Там было три спальни, столовая, маленькая гостиная, кухня и довольно просторная ванная, оборудованная всеми необходимыми предметами, примитивными, но в полном порядке. Дом был построен на сваях, и место, остающееся внизу, представляло собою огромный склад старых и ненужных вещей: были там две обшарпанные дырявые шлюпки, которым не суждено уж вернуться в море, какие-то ржавые трубы, безногие стулья со вспоротым сиденьем, обрывки веревок и цепей, пустые деревянные ящики, две складные кровати, столик с двух ножках, старинный раздвижной письменный стол, целая корзина битой посуды. Дом, однако, не являл никаких примет запустения.

Они взошли по крыльцу в комнаты и сели на старый, но аккуратный диван, слишком массивный для здешнего жаркого климата. Посидели спокойно, позволив уюту всей этой обста-

новки обволакивать их, проникая в глубь души, вернее, привычки. Внезапно женщина встала, сняла с себя шорты и блузку, бывшие единственной ее одеждой, прошла в ванную и открыла душ. Мужчина почувствовал слабый укол забытого желания и сразу же успокоился, слушая шум льющейся воды и бессознательно наслаждаясь предвкушением всего этого «после», повторенного столько раз, что, казалось, увяло без возврата, оставив, как улетевший ветер, лишь омертвевшие листья пальм и безмолвие.

Женщина вышла из ванной, голая и вся в водяных каплях, и прошла в кухню. Там было все что надо. Она зажгла газовую плитку и поставила греть воду. Потом открыла холодильник, вынула несколько яиц и принялась сбивать их для омлета.

Тем временем мужчина вошел в большую спальню и бросился на постель. Она была широкая и тщательно прибрана. Это была семейная спальня. Нигде не было ни одной фотографии, но на всем отпечаталось присутствие мужчины и женщины, словно только что ушедших отсюда. И дело было не в убранстве, не в туалетных принадлежностях на маленьком столике, а в чем-то совсем другом, прячущемся в книгах и журналах на двух тумбочках, в ковриках по обе стороны кровати, в светильниках и пепельницах, в зеркале на туалете, еще недавно отражавшем чье-то лицо, в окне, открытом на пустынный берег, на сине-лиловое море, на небо в тучах, на пальмы, пальмы и пальмы.

Мужчина глядел некоторое время на недвижимые пальмы и понял, что один, решительно и бесповоротно один, один навсегда и нет ни дороги, ни попутного ветра, ничего нет. Когда женщина вошла, неся тарелки с дымящимся омлетом, он стал пристально вглядываться в нее, стараясь вспомнить, кто она такая, где он впервые увидел ее, как узнал, полюбил, возненавидел и забыл, как привык к ней и как потерял эту привычку. И не смог вспомнить ничего. В этом абсолютном покое не было ничего, что бы нарушило равновесие и толкнуло их друг ко другу, ничего, что понудило бы их преодолеть эту неподвижность морской шири, через которую они лишь видели друг друга, не больше.

Они поели в молчании, как делали уже много лет, и растянулись рядом на кровати.

И тут они услышали слабый шум.



Управитель острова только что начал письмо с просьбой об отставке, когда что-то отвлекло его внимание. Что это было? Он встал и подошел к окну. Все было тихо. Слишком тихо. Вот в чем дело. Месяц за месяцем ветер слабел и теперь прекратился вовсе. Внезапно. От этого и стало вместе и легко и тревожно. Мертвая тишина. Управитель не мог припомнить ничего подобного за все годы своей жизни на островах. Или, может быть, он раньше просто не замечал таких вещей, а теперь, когда решил столько сразу переменить в своей жизни, все его чувства обострились до крайности.

Он хотел уже было вернуться к своей машинке, как вдруг заметил маленький парусник, неподвижный в глубине гавани. Он не припоминал, чтобы видел, как тот вошел в гавань, и был уверен, что на рассвете его здесь не было. Видимо, только что бросил якорь. Он взял свой бинокль и принялся внимательно рассматривать суденышко. Это был небольшой белый парусник с вяло приспущенными парусами. На борту никого не было видно, и, хотя долго всматривался, он не заметил там никакого движения. Команда, вероятно, высадилась на берег. Но едва подумав так, он заметил, что маленькая шлюпка на корме не отвязана. Разве что добирались до берега вплавь. Он подошел к раскрытой двери и не увидел никого на песчаной отмели. В доме жена его уже кончила укладывать вещи и перетаскивала чемоданы к выходу. Она не заметила внезапного затишья, и ей не пришло в голову, что ни один самолет не сможет приземлиться при таком полном безветрии: посадочная площадка слишком коротка. Вероятно, им придется ждать до завтра. Это не входило в его расчеты. Еще одна ночь на острове рядом с женой. Он кликнул секретаря. Тот тоже не видел, как приближался парусник, но был абсолютно убежден, что на рассвете его тут не было. Механик был того же мнения. Кроме того, никто не видел, чтоб кто-либо сходил на берег. Да ладно, все это, в об-

щем, неважно. Наверно, спят, или валяются в постели, или один черт знает чем заняты.

Управитель снова сел за письменный стол, к своей машинке, но не нажал ни на один клавиш и только смотрел на выспренное обращение: «Высокочтимый сеньор!»

Кто первым прочтет его прошение об отставке? И кого первого оно хоть сколько-нибудь заинтересует? Всего забавней, что и его самого оно уже не интересовало, а ведь еще даже не было дописано... С этой отставкой кончалась одна полоса его жизни и начиналась другая. Да полно, разве что-то действительно кончалось? То, что не существует, не может и кончиться, а до сих пор жизнь его была сплошное несуществование, ничто, колыхаемое ветром; и когда ветер перестал колыхать это ничто, осталось лишь ничто недвижимое. Так что же реально? Может быть, ветер? Да нет. Пальмы, например, не перестали существовать оттого, что ветер уже не раскачивает их листья. Напротив, теперь они стали больше самими собой. Но тогда что же такое ветер?

Он знал теперь, что дал ему ветер, гонящий его по жизни: эту бессмысленную должность управителя островов — ни пользы, ни авторитета. Эту женщину, которая сейчас укладывала вещи, чтоб бежать от другого ветра — того, что гнал по жизни ее. Но тогда, значит, пальмы — лишь ветер от других пальм, и так до бесконечности или до тех пор, пока не останутся пальмы без ветра, иными словами, пальмы, пальмы и пальмы — одни только пальмы и ничего более. Он уже видеть не мог пальм. Одно было ясно пока что, во всяком случае: он сам стал пальмовым деревом, недвижимым сейчас, как все окружающие деревья на острове, и надо использовать это минутное затишье, чтоб решить, что ему делать со своей жизнью, прежде чем задует какой-нибудь новый ветер. У него было ощущение, что жизнь остановилась на минуту, чтоб дать ему возможность подумать и спокойно все решить, пока он свободен от постоянного давления быстротекущего времени.

Он встал и подошел к двери. Просьба об отставке была задумана под этим именно давлением, и потому он не хотел заканчивать письмо сейчас. Во всяком случае, эта бумажонка

была сущим пустяком по сравнению с теми важными решениями, какие ему легче было бы принять одному; но жена опередила его и первая решила разрушить их бессмысленный, условный, холодный и неудачный брак, придавивший обе их жизни, словно надгробная плита. Впрочем, опередила она его всего на какую-нибудь пару дней, потому что сейчас, в эту самую минуту, он тоже знал уже, что это единственный возможный выход и что вообще-то принять подобное решение было, оказывается, не так уж трудно. Но не хотелось допустить досадной мысли, что получается, будто он решил подать в отставку, будучи на поводу у жены, да чтоб еще и доказать самому себе, что только он способен все изменить. Пальмы — лишь ветер других пальм. Пускай. Все-таки принято решение, означающее перемену. Только вот досадно, что нет возможности немедленно осуществить это решение. Ветер остановился, чтоб пальмы могли подготовиться к своим маленьким переменам, и теперь, чтоб эти перемены осуществились, пальмам снова нужен был ветер. Но чертов этот ветер не собирался, видно, возвращаться.

Он вышел на белое солнце пляжа и кликнул механика.

— Приготовь моторную лодку, надо взглянуть на этот парусник, в чем там дело.

Затем направился к дому и вошел. Жена сидела в гостиной, и было очевидно, что она только теперь поняла, что в такую безветренную погоду ни один самолет не отважится приземлиться на острове.

В это самое мгновение появился вдруг самолет, сделал пару оборотов на небольшой высоте, пролетел в двух метрах над посадочной площадкой, словно чтоб показать, что сделал все возможное, но увы! — невозможно, и скрылся из виду. Шум его слышался еще долго, затихая по мере того, как он удалялся, все уменьшаясь, покуда не наступила полная тишина.

— Лодка готова.

Управитель ушел в сопровождении механика, а женщина, раздосадованная, направилась в кухню отдавать распоряжения повару. Раз ничего изменить нельзя, то по крайней мере надо вкусно поесть.

Не получив ответа на свой оклик, управитель взошел на корабль, посмотрел с минуту на тщательно вымытую палубу и спустился в каюту. Все было в полном порядке: газовая плитка, маленький холодильник, столик с портативной пишущей машинкой, две койки, большой ящик с книгами и запас консервов. Был еще фотоаппарат с довольно полным набором объективов, магнитофон с большой коллекцией кассет от биттлзов до знаменитого Альбинони, два очень сильных бинокля и карабин 22-го калибра. Под койками стояло несколько ящиков поменьше; он открыл один из них и сразу же понял, что корабль управлялся или должен был управляться мужчиной и женщиной.

Он сел на одну из коек и подождал, пока качка, вызванная его шагами, не улеглась. Через несколько минут все обрело прежнюю неподвижность. Куда девались эти двое? Возможно, утонули, а может, и приехали сюда специально, чтоб покончить с собой.

Он перестал задавать себе вопросы, потому что не любил этого бессмысленного спорта — строить догадки по поводу конкретных фактов. Существовал конкретный факт — новоприбывших не было ни на острове, ни на паруснике, а последний не мог доплыть сюда без людей на борту, хотя бы потому, что кто-то же бросил якорь! Все это означало, что он должен представить доклад начальству, а из этого следовало, что его отставка не будет принята, пока эти таинственные обстоятельства не разъяснятся. Опять догадки. Самое вероятное — что у них была вторая шлюпка и на ней они отправились осматривать окрестности. Или, может быть, парусников было два. Опять предположения и догадки. Средство одно — ждать, но не здесь, разумеется. Безукоризненная чистота и полная тишина пустой каюты начинали раздражать его; да, пустой, несмотря на то, что он сидел здесь; пустой как-то по-иному, пустой как-то так странно, что ему вдруг показалось, что если он останется здесь еще на мгновение, он уже не сможет выйти отсюда и вернуться в свой привычный мир. Он рывком поднялся с места, и возникшая от этого легкая качка вернула ему спокойствие. Прежде чем подняться на палубу, он еще раз взглянул на столик



в углу каюты: не висело над ним и не стояло на нем ни одной фотографии, и не лежало на нем ни одной бумаги, пролившей бы на что-либо свет; рано было начинать доклад начальству. В пишущую машинку был вставлен лист бумаги; он был пуст.

Прежде чем вернуться на остров, он обогнул парусник на своей лодке, чтобы прочесть его имя на корме, которая обращена была к морю: «Моряна». Пока плыл к пристани, он несколько раз оглядывался по сторонам, но никого не увидел. В конце концов он сошел на берег и вернулся домой. Доклад и отставка подождут. Все равно, пока не вернется ветер, ничего предпринять нельзя. К тому же он проголодался.

Управитель и его жена пообедали молча и не глядя друг на друга. После того как решение было принято, каждая попытка общения выглядела нелепостью, а прежние отношения — потерянным временем. Они были сейчас вместе, потому что проголодались и потому что стих ветер. Повар приготовил превосходный обед, и они утолили голод с удовольствием.

Ветер не вернулся и этим вечером, и вот уже вечер превратился в ночь. Тишину прорвал гуд генератора, зажегшего огни на острове. Парусник оставался недвижим и пуст, а теперь и темен. Они отужинали так же, как обедали — молча; но затем, вместо того чтоб, как обычно, идти в постель, уселись за дверью на террасе, глядя на далекую тень парусника. Прошел час, и механик, не получив никакого особого указания, выключил генератор, и остров погрузился в темноту и в тишину.

Управитель и его жена не шелохнулись и не вымолвили ни слова, потому что их охватила досадная уверенность, что оба они думают об одном. Покинутый парусник связывал их друг с другом, как тугая петля; но связующее звено было пустым и загадочным, и ни ему ни ей не хотелось заполнять эту пустоту и разгадывать эту загадку. Так прошло много времени, а потом высокие тучи заслонили звезды и парусник пропал из глаз. И остров совсем потонул в темноте, а управитель и его жена поняли, что больше уже не смогут жить здесь, даже если станут всеми силами стремиться к этому, даже если вновь пробудившаяся любовь внезапно брызнет из холодного колодца, в котором они жили, даже если ветер никогда не задует здесь

и пальмы станут так неподвижны, что в конце концов умрут от этой неподвижности.

На следующее утро все оставалось по-прежнему, словно пальмы, парусник и море достигли последнего совершенства в своем покое, и только обитатели острова вынуждены были двигаться. Управитель и его жена чувствовали себя все более неловко, связанные этим слишком долгим прощанием, которого ни он, ни она не желали. Мужчина вошел в канцелярию, намереваясь закончить письмо с просьбой об отставке, но, едва сев за стол, стал глядеть через окно на маленький белый парус и так и не смог оторвать от него глаз, не в силах сосредоточиться, не в силах пальцем пошевелить, досадуя на себя за то, что дышит, за то, что сердце его бьется, за то, что во всем его существе столько движения, — и все это так необходимо и прекрасно, но так отдаляет от волшебной гармонии тишины и покоя, царящих на острове.

Он вошел в дом. Жены не было ни в гостиной, ни в столовой. Он открыл дверь в спальню и там нашел ее, лежащую одетой на постели, словно оттого, что она будет так вот готова к отъезду, ветер возвратится скорее. Такова уж она была, да таковы и все люди. Вечные жертвы иллюзии, будто их поступки или желания властны изменить неизменяемое течение жизни, подогнать его к скучным хитросплетениям, какими опутывают себя в своих жалких мечтах о новом, о лучшем, о завтра...

Управитель взглянул на свою жену, и во взгляде его была вся усталость потерянного навек прошлого; он попробовал вспомнить что-нибудь, чем она одарила его, что было бы достоинством его, не переставая принадлежать ей, что придало бы какую-нибудь цену всему их времени, доказав, что оно прошло не безнадежно впустую. Какой-то день, какое-то движение, какое-то слово, улыбку или печальный взгляд, мятый платочек, минуту ожидания или тревоги, аромат духов, болезнь — хоть что-нибудь, что нуждалось бы в двух полюсах, чтоб вспыхнуть как нечто новое. Но вспомнил лишь свою долгую усталость, которая сейчас и толкнула его на постель, достаточно широкую для того, чтоб двое могли лежать на ней, не опасаясь

соприкоснуться. И так они лежали, недвижные, когда вдруг услышали слабый шум.

Это было нечто едва уловимое, словно лишь воображаемое. Но воображаемое медленно-медленно становилось реальным, и ветер вернулся на остров.

## Троепутье

— Все кончено.

Эти два слова относились к ней. Они прозвучали где-то очень далеко, на расстоянии, представлявшемся невозможным до этой минуты.

Он почувствовал себя усталым, как никогда ранее, несмотря на то, что лежал вытянувшись на песке. Близилась ночь. Он бросил взгляд на берег кругом себя, амфитеатром замыкающий море. Раздвинул ноги и в просвет между своими рваными башмаками стал глядеть на темный треугольник спокойной воды. Красиво. Поэтому природа и строит миллионы амфитеатров, которые всегда пусты. Но этот не был пуст; бесчисленные темные фигуры заполняли его, растянувшись на песке, сидя на корточках, стоя, бродя из стороны в сторону. Все произносили бессмысленные слова. Ничего нельзя было ни понять, ни различить. Смутные шумы, неясные тени.

Зачем он здесь? Он закрыл глаза. Голод мучил его. Вот уже два дня, как он ничего не ел. Унес, правда, из какой-то лавки хлебец и бутылку молока, но этого было недостаточно даже для такого малоежки, как он. Однако не всегда он был малоежкой. Ребенком он ел как боров, жадно и не разбирая. Одно время его все тянуло на соль и он пригорстнями таскал ее в кухне, наполняя ею весь рот. Потом место соли занял сахар. И, наконец, хлеб. За завтраком он пил кофе с молоком — чашку за чашкой, чтоб иметь возможность поглотить как можно больше хлеба с маслом. И наловчился пить такими малюсенькими глотками, чтоб одной чашки хватало чуть ли не на час, и после каждого глотка откусывал огромный кусок хлеба. А когда

кофе все же кончалось, продолжал кусать еще, и еще, и еще, пока в горле у него не образовывался хлебный ком, который он с наслаждением препровождал внутрь, запивая вкусной ледяной водой. Теперь он уж не может так; а соли ему и почти вовсе не нужно; да и то сказать, карманы у него теперь еще более пусты, чем желудок. К счастью, и аппетит уже не тот. Почему же в эту самую минуту он так голоден? Он открыл глаза, возмущаясь самим собой: был занят нелепыми мыслями о еде потому только, что проголодался; с полным брюхом он думал бы о ней.

Зачем он здесь? Как попал на этот темный, полный призраками берег? Надо поесть. Все остальное неважно. Когда какая-нибудь насущная потребность не удовлетворена, то все сосредотачивается только на ней. Если требуется срочно освободить желудок, все другое отступает и остается только эта всеобъемлющая животная потребность; если не так срочно, то уже ощущается удовольствие от освобождения; а еще менее срочно — и ощущение сразу проходит, и к человеку возвращается его обычный внутренний строй. А вообще-то внутренний строй во многом зависит от степени скопления семени. Одна степень — и перед вами представитель упаднической философии, снисходительно-усталый от жизни; другая рождает яростное и беспорядочное стремление к творчеству, в котором женщина становится предметом поклоненья и воспеванья; третья — и человек во власти страстей, он или мистик, или донжуан; четвертая — и чувственность выходит из берегов, заставляя забыть самого себя и насиловать девственниц...

Упадок гбнущих империй... Он вспомнил почему-то эту фразу откуда-то, и она, словно забытый аромат, заставила его хоть частью вернуться в свою разрушенную оболочку. Кто он? Почему он здесь, полумертвый от голода, и не может сосредоточиться на своем горе, которое словно разлилось по всему его телу, заменив собою кровь? Он огляделся. Все эти тени пришли на то же место, что и он, и в то же самое время, и тоже неизвестно откуда. Но, быть может, они знают больше, чем он, и не чувствуют ни голода, ни печали из-за ее смерти. Но тогда зачем же они пришли? Опыт, приобретенный

неведомо как и где, словно в каких-то похожих обстоятельствах, подсказал ему, что вопросы бесполезны. Может, ему дадут поесть и даже объяснят, что это за местность и в чем состоит то событие, какого все здесь ждут; но единственным результатом этого будет то, что он тоже превратится в одну из этих теней и никогда больше не встретится с *нею*.

*Она*, вечная, неизменная, единственная. *Она*, все затмевающая, все заполняющая, любимая. По ту сторону горизонта. Тайна, раскрытая и всегда уходящая в неведомое. Всегда вместе и всегда врозь. Встречались, сходились, любили, ненавидели. С отчаянной решимостью разлучались на десять, четырнадцать, двадцать часов; сталкивались непредвиденно в предвиденной встрече, по-старому кончавшейся новым безумием. И так всегда, в поисках и каждодневных находках еще скрытого, единые в своей темной схватке без слов, ибо говорили редко. Не хотели слов; ненавидели их за монотонность смысла и за то, что они были на устах у всех.

Кем была она раньше? Нет. Кем была она? Но ее уже не было, а значит, и его не было, и его возрождение остановилось на полпути. До нее он был сухой песчинкой, она заставила прорасти песчинку. Он и не знал, что в нем таилось столько жизни. Но его ли это была жизнь? Если его, так где она теперь? И где эти взрывы радости, и счастливый покой в перерывах между ними, и острая боль расставанья, и пустота, вечно полная *ею*?

Они соединились в одно на глубине более вечной, чем слова и чем страданье. Оба чувствовали, что с ними происходит нечто странное, неизведанное, наверно, никем. Это не было той любовью, о которой говорили другие; об этом нельзя было говорить. Они чувствовали, что их увлекает поток, чье течение древнее, чем все на свете. Когда он смотрел на нее, лежащую рядом, он удивлялся. Он не понимал, как такое хрупкое, слабое существо могло так пробуждать его скрытые силы. Она создавала его заново. День за днем он чувствовал, как его лепят, шлифуют, совершенствуют. Словно какие-то волны вливались в него и бились одна о другую, то сходясь, то расходясь и образуя новое какое-то единство...

И вдруг эти два слова: «все кончено»... Так отмстил им

родной язык за молчанье, каким они сопровождали свою любовь,— вот этими двумя словами. Что ж, из-за этих двух слов он сейчас здесь?

Он укрылся тогда за углом своего дома и смотрел, как шестеро мужчин выносили черный гроб. Там, внутри, лежала она. Он не почувствовал ни горя, ни одиночества — одно лишь удивление. Что такое смерть? Никто этого не знает. Она разлучила их, но он не знал, что она такое.

Теперь он уже знал; но несколько дней и ночей он бродил, как раненый зверь, пока не почувствовал, что эта смерть — его и он должен выстрадать ее сам. И все-таки ему хотелось думать о ней, вспоминать ее смех, ее милое лицо, заставить чувства повторить все линии ее тела, удержать мягкое, никогда уж не возвратное прикосновение ее губ — вспоминать, вспоминать, вспоминать... Чтоб она была живая и рядом еще какое-то время; они потеряли столько — столько часы молчания, столько смутных шорохов в темноте их усталости, похожих на шорохи этих теней, что сейчас пытаются ворваться в эхо его печали и готовы ответить на любой мучающий его вопрос, если сам он готов присоединиться к ним и навсегда отречься от той прекрасной жизни, какую они вдвоем открыли для себя. Но он не хотел спрашивать, ибо это означало бы пробудиться и найти в ответах ее смерть, а значит, и свою.

Он почувствовал тонкую струйку холода на виске. Он плакал, оказывается.

Внезапно словно огненная змея взмыла в воздух, и через мгновенье раздалась, очень высоко, раскаты грома. Все тени, собравшиеся на берегу, разразились долгим кличем, прозвучавшим как первый аккорд тщательно разученного хорала. Вторая огненная змея прорезала черный воздух, внезапно остановилась и взорвалась гигантским кольцом светящихся точек, которые мгновенно погасли. Внизу темные силуэты казались раздавленными в своей мизерности; даже море как-то сузилось. Все затмили быстрые вертлявые светляки, которые подымались ввысь, образовывали блестящий свод величиной с само небо и умирали. В промежутках между взрывами небо казалось еще более черным и пустым. Он про-

должал лежать на песке, глядя на бесплодные соединения одной и не замечая слез, стекающих по вискам.

Теперь он вспомнил. Она должна была быть здесь, рядом с ним, и тогда ни о чем не надо было бы спрашивать, все обрело бы смысл и красоту. Но ее не было, она не пришла, потому что предпочла смерть, как всегда предпочитала бегство к каким-то своим, неведомым тайнам, которые никогда не хотела разделить с ним.

А теперь она удалилась к своей последней и исчерпывающей тайне, а его использовала как средство передвижения, которое бросают в конце пути.

А вот и конец пути. Тень на песке среди других теней. И без нее. И все непонятно.

Где-то очень высоко взрывались легкие купола света и гаснущие искры развивали неистовую энергию, чтоб достичь правды своего мгновенья; но эта правда никому не была и не могла быть нужна.

И вдруг он понял, что за все то время, пока они любили друг друга, она создавала для него это одиночество, сообразное ему в ее понимании. Потому им вместе удалось так приблизить приход того, что ожидало своего часа за ярким фейерверком их жизни. Они заплатили вперед. И теперь ему осталась лишь эта боль, которая никогда уже его не покинет.

Слезы высохли на его висках, когда он поднялся и приблизился к ближайшей группе теней, чтоб задать свои вопросы.



— Все кончено.

Эти два слова относились к ней. Они прозвучали где-то очень далеко, на расстоянии, представлявшемся невозможным до той минуты.

Голос врача завершил происшедшее. Она умерла. Ничего уже не оставалось делать.

Он постарался понять сразу и окончательно, что она мертва; но не мог; казалось, она спала, отдыхала, вновь обретя себя. Смерть уже сошла с этого лица. В течение долгих часов

агонии, бесплодной борьбы, она не была собою, во всяком случае с той полнотой, как сейчас; просто одни черты вытеснили другие. Как и в наслаждении; наступал миг наслаждения, и ее лицо воплощало лишь что-то одно, становилось резким оттиском одного жизненного переживания; то была она, но не полностью она; словно один из каналов ее жизни хлынул на берег и затопил все вокруг; но едва этот миг проходил — и воды канала возвращались в свое мирное русло, воскрешая все вокруг, и ее лицо снова выражало ее всю; и снова возрождалось в ней все то, что на несколько мгновений умерло. Так было и сейчас, и потому-то он не мог понять ее смерти.

В течение двух часов это лицо было образом смерти, до времени сокрытой в каждом человеке. Черные ее воды затопили все. Но внезапно волны схлынули, и лицо снова стало лицом его жены.

Он подумал: «Теперь волны унесли все и ничто не вернется»; но произошло невозможное: перед ним была безмятежность покоя, улыбка удовлетворения от встречи с самой собой. Это была снова она, и сон ее был спокоен.

Он впервые увидел ее, когда она спала. Это было в поезде. Он сел на промежуточной станции и поместился напротив нее. Минут пятнадцать смотрел он неотрывно на ее склоненную набок голову и сомкнутые веки. А потом она открыла глаза и улыбнулась ему. Он не ответил на ее улыбку. Он подумал с горечью обо всех губах, целовавших эти губы, обо всех нелепых словах, обращенных к ней и с удовольствием выслушанных ею, обо всех минутах и часах, какие она провела в постели, прижимаясь своим телом к другому телу, такому же молодому, как и ее. Или она еще невинна? Она ведь так молода. И вдруг на какое-то мгновение он понял, что смешон, и понял, почему смешон, и почувствовал презренье к себе, но не сумел прогнать эти мысли. Зато сумел улыбнуться ей в ответ, наконец. Девушка была обаятельна. Они разговорились. Сошли вместе. Узнали друг друга. Полюбили. Но всегда оставался в нем страх, что уже невозможно объять все, стереть то, что было, и отгородиться от того, что будет.



Он старился. Ему было сорок. Но они все же поженились. Ей было восемнадцать, и она уже целовала другие губы и выслушивала глупости, и она не была невинна, да и не хотела, чтоб так думали. Поначалу его терзала лютая ревность к прошлому, но ее любовь была такой сильной и постоянной, что после рассказа о трех ее случаях все было сдано в архив.

Теперь тоже все было сдано в архив. Окончательно сдано рядом с этим недвижимым телом и этим лицом, погруженным в сон, в усталость, уходящим от него. Она была мертва. Конец. Медицинская наука бессильна. И против науки тоже все бессильно.

Бессильно. Он подумал так и в этот самый момент понял, что плачет. Давно ли? Он услышал свои собственные рыдания, глубокие и новые для него, потому что раньше никогда не плакал. Никогда разве?.. Он вдруг явственно ощутил, как его ударили по щеке.

Эта была широкая и тихая улица. Он молча стоял у края панели. Ему недавно исполнилось восемь лет, и ему разрешалось теперь ходить одному в пределах квартала, но только по их стороне улицы — всякая попытка хоть одной ногой сойти с тротуара строго воспрещалась. Да он не смел и помыслить о таком дерзком поступке. Так он и стоял, не двигаясь, наблюдая игру других мальчиков, к которым мог присоединиться, лишь когда они покидали запрещенную зону. Вдруг произошло неожиданное: мальчики прекратили беготню и, столпившись в кучку, стали о чем-то совещаться; при этом они всё взглядывали на него и наконец всей ватагой направились к тому месту, где стоял он, все так же неподвижно. Мальчик, шедший во главе, подошел к нему вплотную и молча ударил по лицу, и все с ликующим криком бросились врассыпную, а он остался стоять на своем месте, горько плача. Даже сейчас, спустя столько лет, он не знал, отчего плакал тогда. Не от боли, не от обиды, не от страха. Быть может, он плакал от бессилия перед жестокостью, притаившейся в мирном зрелище, каким только что любовался, или из-за невозможности избежать ударов, даже оставаясь за чертой, даже сохраняя неподвижность, или безучастие, или доброжелательство.

Теперь он плакал тоже из-за невозможности остаться за чертой, отгораживающей его от жены, ибо она слишком вошла в его существо, как и он в ее; и к тому же не так, как надо бы, а под грузом нелепых и преходящих норм и предрассудков. Она предоставила ему возможность открыть, что такое любовь, и одновременно помочь и ей сделать подобное открытие. Но он не захотел или не смог, что одно и то же. Почему так страшны удары, задевающие чувственность? Где то низкое, что все разрушает? Где искать его преодоление? Наверно, не внутри человека, а вне его, на улицах, за окнами, в соприкосновении с другими людьми; не в четырех стенах, где тьма освещается всеми сияниями и душа робеет перед счастливыми возможностями, сулимыми жизнью... А он не захотел. Почему? Что такое чувственная любовь? Любовь ли? Если да, то она не была бы теперь мертва. Стремление к продолжению рода? Но он не мог продолжать свой род. Он был бесплоден.

Две головы склонились над столом в лаборатории. Они тщетно пытались рассмотреть через двойной окуляр микроскопа стремительные движения жизни. Врач еще не решался произнести приговор, но он сам уже произнес его над собой; сам выкрикнул себе в лицо: «Ты человек сверхцивилизованный, и семя твое бесплодно». Он усмехнулся. Бесплоден. Ну и что же?

Он умел любить. И как еще. Узнав, что не сможет продолжить малой толики своей особенной жизни, он почувствовал в себе больше жизни, чем когда-либо. На нем кончалась его ветвь. В этой последней почке собрался последний сок дерева, больше ростков не будет. Он сам был своей жизнью, всей своей жизнью. Такова была и его любовь: необычайна, глубока, почти уравновешенна. Он не испытывал к своей жене того неистового влечения, какое свойственно беспокойной человеческой породе; чувство его было сильным и сосредоточенным, как чувство покоя. И этим покоем была она, единственный маленький росток, чудом пробившийся из последней бесплодной почки дерева, единственная возможная жизнь рядом с его жизнью. И вот эта жизнь кончилась.

Новый взрыв рыданий потряс его, словно все нервы в нем рас-

крутились. Он склонился к закрытым глазам жены и понял, что дальше ничего уже нет. Руки мертвой были вытянуты вдоль тела. Он приподнял край покрывала, просунул под него правую руку и сжал недвижные пальцы. Он знал, что очень скоро, через несколько минут, а может быть дней, его любовь станет какой была, сильной и чистой, и, хоть она будет уже бесполезной, не хотел, чтоб над ней тяготело ненавистное воспоминание, и сейчас искал соприкосновения с мертвой рукой, чтоб смягчить эту тяжесть.

Глухими ударами возвращались к нему картины пережитого... Она шла почти на квартал впереди, выигрывая во времени и в расстоянии, хотя в действительности она ничего не выигрывала, потому что ни она от него не убегала, ни он ее не преследовал. Так шли они довольно долго. Иногда ему хотелось окликнуть ее и разом прекратить все это, но пересохшие губы не слушались. Внезапно человек, ожидающий там, на углу, шагнул к ней, улыбаясь, и они продолжали путь вместе. А он в эту минуту был весь — боль, но все шел за ними следом, холодно рассчитывая время. Те двое миновали еще квартал и остановились на минуту у какого-то дома в глубине длинного, узкого переулка. Он ускорил шаг, пробежал несколько метров, успел еще увидеть, как они отворяют дверь и входят в дом. Стремительно преодолел расстояние, отделявшее его от этой двери, и прислонился к ней. Он задышался и обливался потом. Дальше переулок уходил вправо под прямым углом и на расстоянии нескольких метров упирался в глухую стену. Направляясь туда, он увидел, как темная стена осветилась слабым светом, исходящим из окна упиравшегося в нее дома. То были они.

Дыхание вырывалось из его губ со свистом. Усилием воли он обуздал его. Могут услышать. Грудь его ныла, словно кто-то толкался в нее изнутри. Он медленно приблизился к окну, оно было невысоко. Решетка из тонких железных прутьев загоразивала открытый прямоугольник; за ней висела толстая занавесь бледно-розового цвета. Он прижался лбом к твердой и холодной стене. Он чувствовал себя бесконечно усталым, словно целый день взбирался на крутую гору. И про-

должает взбираться, потому что боль и усталость не проходят, а, напротив, растут. Он ухватился крепко за решетку и подтянулся. Подбородок его был теперь почти у нижнего края окна. Очень медленно он вытянул руку и приподнял край занавеси.

Он судорожно сжал пальцы жены. Ненависть разливалась по всему его телу и уже достигла запястья; еще немного — и дойдет до кончиков пальцев. Он сильнее сжал мертвую руку; надо было оградить от ненависти хотя бы это последнее прикосновение. До этой точки она не дойдет, нет, не дойдет, хотя бы он вновь и вновь припоминал все с той же ясностью — и комнату, мягко освещенную маленькой лампой на ночном столике, и смятую постель, и все убранство, едва проступавшее сквозь его затуманенное сознание, и два тела, сплетающихся в пароксизме такой страсти, о какой он и не знал, что она существует. Он с силой скомкал край занавеси, зажатый в его руке. Единственной точкой его тела, еще сохранившей силу, была рука, сжимавшая занавесь.

Единственной точкой его тела, куда еще не проникла ненависть, была рука, сжимающая руку умершей. Он сжал ее еще крепче, так, что причинил бы боль, если бы та, что лежала перед ним, могла ее чувствовать. Сюда не достигнет ненависть, не достигнет, не достигнет... Надо идти в лабораторию. Внезапная решимость погнала его по знакомым улицам. Только решимость, мыслей не было. Одно он знал твердо: надо идти в лабораторию. Придя, он направился к маленькому шкафчику в стене. Надо открыть шкафчик — одно это он знал твердо. Он открыл и вынул три флакона. Надо взять один из них — это он твердо знал. Он взял его с осторожностью и стал рассматривать содержимое: крошечные белые кристаллики. Он высыпал немножко на обрывок бумаги, сунул в карман, поставил флаконы на место, закрыл шкафчик, погасил свет, вышел из лаборатории... и снова знакомые улицы. Одно он знал твердо: надо идти домой. Домой. Он отпер дверь. Она уже пришла. Он поцеловал ее, как всегда. Они пообедали вместе. Он знал твердо: надо ввести в ее нутро кристаллики. Они должны произвести свое медленное, неотвратимое действие. Когда она допила свою обычную чашку крепкого кофе, ничего

уже нельзя было поделаться. Оставалось ждать. А пока она не должна ни о чем догадываться. Одно он знал твердо: этот промежуток времени надо прожить как обычно. Но боль в груди была так сильна, что, когда они вечером разделись и легли, он должен был сделать нечеловеческое усилие, чтоб не прижать к себе как можно крепче свою жену и не заплакать в голос.

Теперь она была уже мертва и он мог плакать. Одно ему осталось: плакать. Он не мог бы до конца объяснить о чем, как тогда, в детстве, но теперь он мог плакать и плакал.

И чувствовал, что ненависть, застрявшая где-то в кисти его руки, начинает отступать. И его пальцы крепче вцеплялись в мертвую руку, в им убитую руку, словно ненависть была смертью, и любовь, застывшая в недвижной маленькой ладони, была единственной его жизнью. И вся его жизнь сосредоточилась в этом прикосновении, так что вне его все стало чужим. И он понял, что борется против смерти, означающей нашествие ненависти, и что единственной силой, какую мог он победить смерть, была сама смерть, угнездившаяся в этой маленькой мертвой руке. И постепенно все в нем свелось к этому прикосновению, к усилию постичь всем своим существом красоту того, что любимо, и понять, что смерть призвана ограничить эту красоту, запереть ее в тесную клетку сущего. И тогда он почувствовал, что гром ненависти затихает, затихает все более и более, замирая в своем глухом подземелье. И что сила, гонящая прочь отступающий гром, исходит из соприкосновения его руки с ее рукой. И так, волна за волной, отступила ненависть, и он снова ожил всем телом, стал чист и свеж, как земля, оплодотворенная внезапным и коротким ливнем. И только обретя эту новую жизнь, он ощутил, как тесно связан со своей женой и как эта связь широка, глубока, щедра и свободна, словно старая песня, навсегда оставшаяся звучать в памяти. И он вдруг понял, что она знала это раньше и хотела разделить с ним, но не успела... Однако это новое ощущение длилось всего один миг. Мгновенно вернулось сознание, что он держит в руке ее руку, и лишь теперь он осознал до конца, что рука эта — мертвая. Только он один был жив, и жизнь его стала той, преж-

ней, до нее, и в сравнении с жизнью, что она принесла с собой, была бесформенным месивом, глиной, из которой еще ничего не вылепили. И вдруг даже самое горе его принизилось. Наверно, уже очень поздно. Он выпустил руку жены и поправил покров. И стал смотреть на закрытые глаза мертвой. Он уже не чувствовал никакой слабости, но не чувствовал и никакой силы. И вдруг он вспомнил, что вчера оставил на столе в лаборатории препарат, который надо срочно центрифугировать. Сегодня же. Нужно идти в лабораторию. Это он знал твердо.



— Все кончено.

Эти два слова относились к ней самой. Они прозвучали где-то очень далеко, на расстоянии, представлявшемся невозможным до этой минуты.

Она, значит, умерла. Но ведь она еще слышала, думала, жила... Это ошибка. Хотя строгий голос, произнесший приговор, звучал такой решимостью и грустью, что ошибка была исключена. На мгновение ее охватил ужас при мысли об этих ложных временных смертях, от которых просыпаются в душном гробу; но ужас сразу прошел — наверно, это просто басни. Значит, она умерла или, во всяком случае, умирает, и мизерное биение жизни, еще оставшееся в ней, так слабо, что не может быть замечено теми, кто живет в полную силу. Она попробовала сделать какое-нибудь движенье, улыбнуться, сказать двоим склонившимся над ней мужчинам, что жизнь еще не покинула ее; но воля ее была уже неподвижна. Она подумала о себе, о своем реальном существовании, которое ее муж открывал в ней постепенно, с тщательностью ученого, и поняла, что не дышит, что кровь в ней не движется, что вся она охвачена неподвижностью, невозможной при жизни. Только тут она смирилась и решила принять — не смерть, нет, а оставшуюся ей жизнь для одной себя, когда никто извне уж не сможет разделить с ней сознание, что она еще жива.

Она вспомнила легенду о том, что в последнюю секунду

жизнь человека проходит перед ним, как на экране кинематографа, и поняла, что эта последняя секунда настала — одинокая секунда, для нее одной, уголок времени, в который никто не может зайти или хотя бы угадать его существование. Но она не почувствовала ни малейшего желания вспоминать свою жизнь. Зачем? Она уже прожила эту жизнь как умела, а смерть есть смерть. Остается только встретить ее с решимостью. Время есть. Она знала, что время есть. Она исполнилась благодарности к природе за это неизвестное явление. Каждому милостиво разрешено умирать в одиночестве. Никто не явится навязывать свое присутствие. Смерть такая своя, такая бесконечно своя, больше даже, чем любовь, так что всякое приближение может вызвать лишь невыносимый стыд. Теперь она стала самой собой. Всем жизням дарован этот последний миг спокойствия, чтоб воплотиться полностью. Все другое — лишь непрерывные прыжки из стороны в сторону под маской, надетой в угоду бесчисленному множеству со всех сторон наступающих людей, чтоб кончить в этой тихой заводи, где человек единственный раз может познать самого себя.

Теперь она была самой собой. В первый раз самой собой. Она подумала это, поняла это, безошибочно это узнала. То была она, и она была одна... и теперь должна была умереть. В долгом пространстве времени она возрождалась в этой мысли и смотрела на себя саму в глубине пустоты. Это была она... Очень медленно понятие того, чем была она, становилось все шире и вольнее, как ветер, уносящий тучи, и она узнала, что она — не только это живое для нее и мертвое для других тело, но и все остальное — все, что эти прыжки из стороны в сторону дали ей, все, что эти прыжки из стороны в сторону отняли у нее, — все, все это и больше, много больше, всегда больше, быть может, гораздо больше, чем могла вместить ее короткая жизнь. И она исполнилась упорным желанием увидеть себя, вспомнить все, познать все — теперь, когда она истинно одна, как раз время. И надо начинать сразу же, ибо нечто неведомое подгоняло ее. Она не знала, откуда явилось это нечто, но оно было остро ощутимо и словно стучало где-то рядом, все упорней, размеренней и чаще. И она отступи-

ла по темному туннелю, в конце которого виделся свет. Внутри была темнота, но зато снаружи — целое пиршество света; она почему-то это знала. Она отступала долго, все ближе преследуемая равномерным частым стуком, покуда не остановилась у омута со светлой глубиной.

Действительно, это был омут. Руслó оказалось слишком широким для ручья, и воды его, утратив быстроту, образовали спокойную заводь с зелеными берегами. Вечерело. Солнце было багряное, и половина его тонула за горизонтом. Она была совсем маленькая и шла босиком. Она чувствовала голой подошвой влажный холод травы, и прутиком ударяла по воде, вызывая волны, растекавшиеся в разные стороны. Все было покой и тишина, пустынность вокруг и внутри себя; лишь один назойливый звук — плач толстой женщины — нарушал мир этого места. Она взглянула на толстую женщину с гневом. Женщина была рослая, крупная, старая и уродливая. И сидела неподалёку в траве, и платье на ней небось уж совсем отсырело. С яростью отвела она глаза от женщины и попробовала сосредоточиться на игре с прутиком, но плач женщины был такой громкий, такой непрерывный... Мало-помалу размеренный ритм этих всхлипываний сообщился волнам, и она с ужасом увидела, как они дрожат, словно бы тоже плачут. И она закричала от страха, увидев, как плачут волны. Она бросила прутик, но волны все рождались, теперь уже сами, и все росли, и все плакали. Она не слышала их плача, но видела его. И тут послышался стук. Старик рубил дрова об эту пору. Это был размеренный стук, слышный далеко кругом. Она испугалась, что стук тоже превратится в плач, и, правда, через мгновенье удары топора уже слышались как рыдание, бурное, безудержное, становящееся все прерывистей и чаще. Старик работал ровно, не спеша — отчего же удары топора вдруг так угрожающе зачастили? В их быстроте не было уже ничего человеческого... И тогда рыдания толстой женщины стали утихать, а вслед за ними и печальные волны остановились, и прекратился жалобный стук топора. И все исчезло, остались только частые-частые удары чего-то неведомого, похожие на судорожную икоту. Она поняла все и, сделав отчаянное



усилие, подалась назад. Резко. Торопясь. Она слишком задержалась здесь. Быть может, уже поздно. Боже милостивый, уже поздно, поздно уже... Нет, еще нет. С грустью простилась она со своим одиночеством, но переносить его стало уже невозможно. Она почувствовала свое недвижимое тело, простертое на простыне, и услышала странные звуки мужского плача. Это был ее муж. Он плакал. Как странно, она никогда не видела его плачущим, так и умерла, ни разу не увидев, как он плачет; но вот теперь она это слышала. Это было что-то неизвестное ей; она скорее угадывала, чем знала, что это он плачет здесь. Новое звучанье, такое глубокое, теплое в своем безнадежном отчаянии. Она не понимала, как это плач может быть вот таким, как он может так ласкать слух, так напоминать об объятьях, о щеке, прижатой к твоей щеке, и в то же время выражать такую скорбь, такую суровость, такое одиночество. Эти рыдания отлучают человека от всего. Он плакал о ней. Он убил ее, но плакал о ней. И вдруг она почувствовала безудержное желанье плакать вместе с ним, как не сумела бы, когда была жива, обхватить руками его шею, рассыпать свои длинные черные волосы по его плечам, смешать свои слезы с его слезами, и пусть они текут и текут, по лицу и по груди у обоих, почувствовать на губах соленую боль общей печали — и так плакать вместе с ним долго-долго, и смотреть на его сомкнутые веки, и наблюдать, как в узких ямках под ресницами образуются бледные озерца и потом проливаются холодом по вискам и заливают уши, теряющие мало-помалу способность слышать. Она уже теряла эту способность, и его плач слышался ей все слабее, все смутнее, все глуше, все дальше, пока не остался лишь легкий след звука, неуловимое облачко, медленно ускользающее от ее слуха и звучащее уже где-то там, независимо от нее... И тогда тишина накрыла ее своей серой тенью.

Она уже не слушала и не слышала. Она теперь была еще более одна, чем недавно. Тягота отступила, и возвратилось благодарное наслаждение одиночеством. Надо умереть одиноко, да... Но раньше надо столько еще увидеть, столько передумать, столько вспомнить. Пережить еще раз все случаи и случайности,

образовавшие ее и обретшие теперь такую значительность, потому что к ним нельзя уже ничего прибавить. Вернуться в темный туннель, освещенный снаружи, идти по нему под неотступный возрастающий стук, найти другую заводь.

Но стук был так навязчив, что скорей напоминал жужжанье. Не было времени для нового путешествия; хотя что такое время? Боже милостивый, что такое время? Ничто. И все-таки уже не было времени. И отсутствие его управляло ее последним перемещением за пределы всего. Она блуждала по туннелю, борясь с побуждением пройти его до конца. Пошла вперед, пошла назад. Она искала еще образа, еще воспоминания, которое определило бы ее. Она уже растворялась во времени, и ей нужно было определить себя хотя бы последним воспоминанием.

Любовник. Слово возникло из гудящих стен темного туннеля. Любовник. Как смешно теперь все это. Любовник. Но ведь это было серьезно. Она очень его любила. Или, вернее, очень желала. Любовник.

Вот она лежит, вытянувшись на постели, голая, черные волосы снопом закинута на подушку; губы приоткрыты, она нетерпеливо ждет его губ. Как дрожит она под его телом, молодым и крепким. Как судорожно жметя к этому человеку — такому живому, такому далекому, такому потерянному для нее. Как неумимы их жадные порывы друг к другу. Какую новую силу и красоту обрела ее жизнь от встречи с ним... Но гул все нарастал и тянул ее, словно на струне, прочь от этой постели, от этих порывов, от любовника. Все дальше, дальше — и вот она уже снова в темном туннеле. А мужчина остался там, на этой крохотной несуществующей постели, протянув пустые руки, чтоб удержать ее, сжать ее пальцы своими праздными пальцами. Но гулкая струна звала, тянула, рвала все остальные соприкосновенья. И она скользила по туннелю, все не отнимая руки, пока не очутилась здесь, на последнем своем ложе, ровном и холодном, где кто-то с силой сжимал ее руку. И это прикосновенье медленно-медленно оставляло ее, и тогда она поняла, что это печальная рука ее мужа, ее обожаемого, потерянного, жестокого мужа. Его рука

уходила от нее, все быстрее уходила его рука; и она уверилась, что это — ее последнее, и крепче уцепилась за его руку. Но пальцы ее не могли двигаться, и пясть осталась раскрытой, обрекая ее на пустоту, на то, чтоб рука мужа отдалилась, устав от невозможности чувствовать пожатие, в котором так нуждалась. Но муж все держал ее мертвую руку, держал и сжимал вместе с ее жизнью; и она чувствовала, как живой пульс его руки проникал ее всю, словно в минуту последней близости. И мало-помалу исчезал темный туннель, а с ним и желанье вернуться. И гудящая струна смолкла на мгновенье. И осталась только правда знакомой этой руки, сильной и твердой, в бесполезном отчаянии пытавшейся навести немислимый мост.

Муж. Человек, любимый до боли, до смерти. Муж. Этот ученый педант, много старше ее; но ни к кому ее так не влекло, и никого она так не любила. Муж. Их одинокая любовь без ожиданья ребенка. Он не мог иметь детей. Она знала это. Он сказал ей, как только они убедились, что любят друг друга. Она отнеслась спокойно. Он был с ней — этого достаточно.

И как же тогда мог произойти тот странный случай? Молодой бог, вернее, молодое животное, гибкое и сильное. Ее потянуло к его телу, к его тайне; то был какой-то голод, особый и необоримый. Все другое стало неважно — лишь бы устоять до смерти рядом с ним, устоять и утомлять его. Она не устояла. Она пыталась бороться с собой, ей даже казалось, что борется, но не смогла устоять и предалась ему в каком-то радостном порыве, уже без колебаний и угрызений. С такой открытостью, как предавалась мужу, но только теперь заполнилась в ней какая-то пустота, которая раньше не мучила ее, потому что она просто о ней не знала.

Что было потом? Все было уже так смутно, и снова настойчиво возвращался гул, неотступный, всевластный, направляющий ее на последнем пути, не давая оглянуться и не обещая пощады.

Потом она поняла то, чего раньше не понимала: что такое любовь. Она любила мужа всем существом, и то, что проснулось

в ней во время неожиданной связи, тоже принадлежало ему и должно было быть разделено с ним, а иначе не имело смысла. Он должен был знать про вспышку свободной силы, случайно в ней открывшейся, и разделить с ней это открытие, отбросившее что-то, что ей мешало, какой-то застарелый душевный мусор. Он должен был знать обо всем, что с ней случилось. Это и есть любовь. И какое же чудо — жизнь, если она рождает подобную любовь — такую огромную, такую чистую, такую непостижимую для тех, кто не чувствует ее, так не похожую на жалкое, судорожное чувство, основанное лишь на инстинкте собственности. Но как открыться ему? Он никогда не поймет, хотя, чтоб понять, нужна только любовь, а он — она знала это — способен чувствовать глубоко. Но он не поймет и не простит, а только с каждым днем станет все больше думать о смерти. Как все смешалось, и животное, и человеческое, как нелепо все смешалось в этой жизни, какие узкие тропы проложены для широких ее шагов...

Да и что произошло? Все теперь уже гудящая струна, закрутившаяся вокруг ее шеи, чтоб сильнее тянуть. Что произошло? Он знал, нет сомнения; каким-то таинственным образом он все узнал и не позволил ей подарить ему свое откровение и признание. Он предпочел навсегда закрыть перед ней будущее и все новое, что оно могло принести. И перед тем как в последний раз потерять сознание, чтоб обрести его вновь уже за горизонтом, она почувствовала бесконечную жалость к человеку, оставшемуся жить, за ограниченность и недалекий пафос его любви, предпочёвшей смерть прощению. Глупый, глупый. Ведь убив ее, он остался в пустоте, навсегда лишенный любви, навсегда лишенный той, что любила его без всяких условий, любила, даже увлекшись другим, даже в своих мечтах о других, даже в думах о его любви к другим, — и уж поздно, уж невозможно ни плакать, ни говорить, ни сказать ему, хоть он и убил ее, хоть он все равно убил бы ее, о своей единственной, могучей, одинокой и последней любви — к нему.

И правда, было уже поздно. Гул нарастал и звал ее, и — как странно — она теперь и сама хотела идти. Она уже

стыдилась немножко той кратчайшей жизни, какую прожила только что за спиною у самой жизни, и своих дум, продуманных так одиноко. Надо идти. И в этот заключающий миг, который был всего лишь частью единственной ее секунды, она почувствовала, что все ее сознание тянется к слабому ощущенью руки, сжимающей ее руку, и поняла, что на месте этого прикосновения и придет к ней смерть. Она устремилась туда, благодарная и трепещущая. Но время уже истекло. Теплота его руки уже уходила... О, если б она могла сделать хоть слабое движенье, чтоб дотронуться до любимой руки, оставить ему на память последнее прикосновенье. Но это было уже невозможно, рука его все отдалялась, отдалялась, уходила от нее, унося ее последнюю, крохотную и слепую жизнь. Он не знал этого. Он и теперь не понимал. Тогда она повторила для себя все пространство этой руки — ладонь, полную маленьких рубцов от работы с кислотами, короткие, сильные пальцы, круглую твердость обручального кольца. И все это было чем-то единым и дорогим, что ускользало от нее и от чего она ускользала с великой болью, и боль мало-помалу преобразилась в покой, в горький покой, полный одиночества. И обожаемая рука, в которой заключилась вся ее жизнь, все удалялась и удалялась, таяла в холоде ее последней жизни, исчезая как слабый дымок и оставляя ей уже один только холод. Но это, к счастью, уже на кратчайшем пространстве времени. Потом, наконец, наступило ничто.

## Холод

Мул, долгие дни так терпеливо носивший его на спине, упал на крутом склоне, ведущем к селенью, и умер. Без единой судороги, не цепляясь за жизнь, вытянул ноги и устремил незрячие глаза на вершину, до которой уже не дойдет.

Человек с яростью пнул животное в кроткую сморщенную морду, взвалил на плечи ранец и медленно продолжал подъем; оставалось еще немало... Он дошел до места измученный, чувствуя, что не может сделать ни вдоха, что грудь сдавило и в горле пересохло.

Здесь, на круглой этой вершине, на высоте более четырех тысяч метров лежало селенье Кальпапукио. Несмотря на неистовый стук сердца, он взглянул на маленький поселок с любопытством. Поселок походил на другие бесчисленные поселки, через которые случалось проходить, но был иной. Иной, потому что здесь все закончится. Навсегда.

Какое-то время назад, не так давно, обитатели Кальпапукио, в странной вспышке коллективного прозрения, поняли полную бесполезность существования своего рода-племени и ощутили бессмысленность существования вообще. В течение суток дороги, холмы и ущелья по всей округе были покрыты телами людей, вытянувшихся в покое отчаяния. Но на следующий день все поняли, что все равно жить легче, чем умереть, поспешно взвалили на плечи кирки и лопаты и, дав рукам и ногам двигаться самим по себе и стараясь, чтоб боль стала лишь избытком напряжения мышц, принялись без толку повторять годами выполняемый урок.

В мире все становится известным, в горах тоже. В несколько часов от человека к человеку и от селенья к селенью прошел по округе слух, что Кальпапукио — это поселок, где люди живут затем, чтоб умереть, и смотрят на солнце, лишь когда им случается споткнуться и упасть на спину, что случается редко.

Жители других местностей не испытали к ним ни жалости, ни страха, просто стали считать их людьми, не похожими на остальных, а это самое худшее, что может выпасть на долю жителям любой местности; и когда этим остальным по каким-либо обстоятельствам приходилось вступать в контакт с мертвецами из Кальпапукио, они делали это с высоты своей с восторгом приемлемой жизни. Да их и винить нельзя, как, впрочем, жителей Кальпапукио тоже. Такие вещи бывают, что поделаешь...

Хозяин упавшего мула слышал эту легенду (все, что непонятно, — легенда) и, так как искал смерти вот уже несколько месяцев, решил отправиться за ней в поселок, где было проявлено столько мудрого смирения.

Ему, однако, не повезло: он пришел в неудачное время.

Престольный праздник, тоже давно уж превратившийся в затверженный урок, перенаселил кривую центральную улочку, и не было ни одной пустой кровати или хоть тюфяка, чтоб переночевать. А праздники здесь длились долго, потому что там, внизу, в уютных домиках, помещики давно уж завели со священниками и с самими святыми тайный сговор: растянуть каждый праздник на неделю, а то и на две, затем чтоб умеренное потребление водки повысило их доходы и понизило умственный уровень индейцев. Помещики разводили тростник, из которого гонят спирт.

Он нашел приют в большом двухэтажном доме, глядевшем гостиницей или пансионом, не будучи ни тем, ни другим. Здесь многие понятия оказывались условными. Это было нечто вроде постоянного дворика, совмещенного с винным погребком, и посредине, на большом свободном пространстве, тщательно укрытый, стоял бильярдный стол. Никто не объяснил ему, как попал сюда этот стол и на кой черт здесь нужен. Правда, и он не спросил. Но в конечном счете этот стол был единственным местом, где можно было уснуть или попытаться уснуть.

Он с нетерпением дождался ночи, сидя в самом дальнем углу, погруженный в свои мысли. Многие входили, пили и уходили. Некоторые пьяно взглядывали на него, без любопытства, просто так. И когда ушли все, до самого позднего пьяницы, он поел баранины с картофелем, выпил глоток водки и улегся на бильярдном столе, закутавшись в три пончо.

Через несколько часов, когда утих праздник, все в селении спали, кроме него.

Он сел, откинув свои пончо, и холод потрянул его, как затрещина. Он снова лег и укрылся, стараясь сдержать дрожь во всем теле. Он подумал о самом себе, о том прыжке на несогнутых ногах, который все не решался совершить. Подумал также, что мертвое селенье приняло его в день, слишком полный жизнью. Подумал, что, может быть, потом почувствует то дыхание sklepa, какого ищет. Подумал о ней, о ее золотистых волосах и нелепых понятиях, о ее белых руках, не умевших ничего делать, но в которые он часто готов был отдать всю свою жизнь и больше, чем жизнь. Подумал о доводах,

какие приводились теми, кто хотел убедить его умереть с достоинством, словно такое возможно. Подумал о белых больничных палатах и омерзительном жертвоприношении жизнью, обреченных в жертву. Подумал о тысяче рук, опиравшихся на этот стол, ища счастливых карамбольных комбинаций, которые не вели ни к чему. Подумал, что ничто не ведет ни к чему. Подумал о мертвом муле. Подумал о боге.

Но холодный бильярдный стол крал у него понемногу остаток тепла, и дрожь в его теле не прекращалась уже ни на мгновение. Нельзя лежать так неподвижно. Надо подняться. Спать ему не хотелось. Быть может, настало время... Он перелег к краю стола и спрыгнул наземь. Холод хлестал его, раздирал, вонзался в его тело. Он закутался во все три пончо и попробовал сделать несколько шагов по темноте, но на каждом натыкался на что-нибудь невидимое.

Надо было отойти от стола; эта плоскость, на которой бильярдные шары прочертили траектории точные, но бессмысленные, страшила и отталкивала его.

Он отворил дверь и вышел на улицу. Холод был невыносимой пыткой, и огромная полная луна освещала его. Да, он видел его отчетливо. Никогда бы раньше он не поверил, что холод можно видеть, но сейчас он видел его.

Там, где кончалась узенькая улица, дорога раздваивалась: одна тропа вела в другие поселки, а другая, извилистая и тесная, упиралась в смерть. Он видел это, когда шел сюда: мрачный обрыв, почти вертикальный, бугристый, таящий тысячи пыток. Там окончится все. У него не было ни охоты, ни времени вживаться в мертвый климат мертвого селенья. В смерти, по крайней мере, он будет независим, поскольку в остальном неизбежно приходится сталкиваться с другими.

Он с трудом прошел несколько шагов. Дрожь во всем теле походила уже на судороги. Зубы стучали неистово, и невольный стон вырывался у него каждую минуту. Во что бы то ни стало необходимо было загнать внутрь себя окружающий его холод. Умереть — значит застыть. Он открыл рот и сделал глубокий вдох. Но сразу так резко задохнулся, горло ему так сдавило, и такая жгучая боль пронзила его всего, что он понял, что это



невозможно. Холод, какого он ищет, не войдет в него через рот, но возникнет в нем самом; быть может, родится из ядра одной его клетки и заразит все остальные, как какая-то новая болезнь, нечто вроде раковой мерзлоты.

Он шел меж двух стен, белых и блестящих. Стоял холод. Он шел так к своему диагнозу, теперь шел к обрыву. Одно и то же. Диагноз, поставленный тогда, и был обрывом. Эта слабая глубинная боль, довольно легко переносимая, внезапно превратилась в исток внутреннего холода, и все по милости его собственных клеток, упорно пожелавших разрастаться, не принимая во внимание, что это означало их собственное разрушение. Это было абсурдное самоубийство на почве роста, и самое ужасное, что холод еще должен пройти зачаточную стадию боли, цепляния за жизнь и жалости к себе. Он любил жизнь, но боялся боли и ненавидел жалость. И главное, ничем нельзя помочь. Гораздо благороднее, чем жалостливые уколы, были гордые камни, ожидавшие его. Потому он шел сейчас меж двух темных глинобитных стен с запертыми дверьми.

Он медленно приближался к перекрестку. Так намного лучше: раздавить свои клетки, прежде чем они раздавят тебя. Он должен умереть с высоты, а не от бессмысленного бунта внутри себя. Пусть умрут эти крохотные... Он задушит их бунт путем разрушения всей их территории.

Свернув на тропинку, ведущую к обрыву, он обернулся и бросил взгляд на селенье. И тогда он увидел на перекрестке ее. Она была недалеко, и луна светила вовсю. Она была вся в белом, и легко-воздушное платье доходило ей до пят. Длинные волосы нарисовали на ее спине черный треугольник. Она медленно шла в сторону селенья.

Путешественник, потерявший мула, снова тщетно попытался унять бивший его озноб. И, не задумываясь зачем, пошел вслед за нею.

Когда он достиг перекрестка, женщина в белой одежде была от него на расстоянии около пятидесяти метров. Он ускорил шаг, женщина продолжала идти тем же; но расстояние между ними не уменьшалось.

Он должен был увидеть ее лицо, найти таинственную теп-

лоту, скрытую в этом хрупком теле, которая поддерживала его живым в этом воздушном платье на этом холоде.

— Подожди.

Окрик испугал его самого, но женщина даже не повернула головы и продолжала идти тем же шагом.

Он перешел на бег, но женщина оставалась от него все на том же расстоянии.

Они вошли в селенье, она — своим медленным шагом, он — задыхаясь на бегу. Это было невозможно, но так было. Женщина удалялась от него вдоль ручейка, бегущего посередь улицы, а он, сделав последнее усилие, убыстрил свой шаг; но удаленность оставалась неизменной. Он остановился. Женщина продолжала свой путь.

Он не хотел терять ее из виду, но силы его иссякли. Он чувствовал в груди кипящую рану, сдавленную холодом. Он пошел вперед медленными шагами. Женщина остановилась. И все вокруг внезапно остановилось. Единственным, что оставалось в движении, были его зубы, выбивавшие дробь.

Женщина остановилась у какой-то хижины. Она подошла к двери и, прежде чем войти, едва заметно, словно нехотя, повернула голову и посмотрела на него. Это длилось лишь мгновенье. Затем она вошла.

Он не мог разглядеть ее черты. Он знал лишь, что она посмотрела на него и что он должен войти в эти двери, хотя бы это были двери ада.

Он подошел к порогу и увидел, что дверь приотворена. Внутри желто и тускло горели свечи. Он слегка толкнул дверь и просунул голову. Посреди комнаты на скамье лежала женщина в белой одежде. Рядом смутно виделась какая-то скорченная фигура, бдящая над покойной.

Он вошел. Фигура подняла глаза. Это была маленькая старуха индейка с длинными косами.

— Она умерла под вечер, добрый господин. Наверно, уж холодная, добрый господин.

И правда, она была холодная, ледяная, каменная.

Индейка не шевельнулась, когда он взял руку мертвой в свои и медленно выпустил.

— Почему ты не закроешь ей глаза?

— Не смею, добрый господин.

Он посмел, но не смог. Они остались открытыми, эти странные глаза, уже бесполезные.

— Кто она?

— Не знаю, добрый господин. Она пришла недавно, должно, лечиться.

— Можно мне побыть?

— Побудь, значит.

Путешественник, потерявший мула, сел в углу, обнял свои колени и стал плакать, как ребенок, которого ударили. Теперь он уже не мог. Боже мой. Что за холод — вот этот холод! Как не похож на стужу с ледяным ветром.

Теперь он уже не хотел. Он знал, что погиб, но не хотел.

Спокойная чистота отвесных скал останется для других. Он хотел ходить, любить, ненавидеть, выть от боли, брать в руки все, что можно взять, пусть червя, пусть таракана, все равно, дрожать от холода — но только чтоб ощущать то неуловимое, что отделяет его от этого, иного холода.

Ибо этот — нет. Ни за что. Этот холод — нет.

# Содержание

- 5 *Инна Тынянова. Экран мысли. (Вместо предисловия)*
- 11 *Часть 1. Много отдельных небес*
- 13 В сельве нет звезд
- 33 Стремнина
- 36 Андраде, приходский поп
- 46 Зеленая стена\*
- 103 *Часть 2. Все, что непонятно,— легенда*
- 105 Пальмы...
- 116 Троопутье
- 134 Холод

**АРМАНДО РОБЛЕС ГОДОЙ**  
**В СЕЛЬВЕ НЕТ ЗВЕЗД**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Обложка художника *П. Чернуского*

Художественный редактор *Л. Филиппова*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 759

---

Сдано в набор 24.05.82. Подписано в печать 12.01.83. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,85. Уч.-изд. л. 7,03. Тираж 50 000 экз. Заказ № 637. Цена 80 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---

В библиотеке журнала  
«Иностранная литература»  
вышли в свет:

Ясуси Иноуэ (Япония) — ТРИ НОВЕЛЛЫ

Леонардо Шаша (Италия) — ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ

Герман Кант (ГДР) — ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО

Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) —  
В ПОИСКАХ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Хоакин Сантана (Куба) —  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ МАГНОЛИИ

Надин Гордимер (ЮАР) — ДОМ ИНКАЛАМУ

Рэй Брэдбери (США) — В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Тонино Гуэрра (Италия) — СТАЯ ПТИЦ

Джеймс Джойс (Ирландия) — ДУБЛИНЦЫ

Сид Чаплин (Великобритания) — ТОНКИЙ ШОВ

Сьюзен Хилл (Великобритания) — САМЕРВИЛ

Яшар Кемаль (Турция) — ЛЕГЕНДА ГОРЫ

Джон Чивер (США) —  
ЕЩЕ ОДНА ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Арман Лану (Франция) — ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Иоахим Новотный (ГДР) — НОВОСТЬ

Цена 80 коп.

## АРМАНДО РОБЛЕС ГОДОЙ

Армандо Роблес Годой (родился в 1923 г.) — перуанский писатель, драматург, кинорежиссер, автор романа "Двадцать домов на небесах" и многочисленных рассказов и повестей. С 1964 года работает в кинематографии. В 1967 году его фильм "В сельве нет звезд" получил золотую медаль на Международном кинофестивале в Москве. Другой его фильм "Зеленая стена" получил признание на кинофестивале в Чикаго. По свидетельству чикагского журнала "Синэгейзин" "публика стоя, в течение трех минут приветствовала режиссера". Сам писатель утверждает, что тот, кто пишет сегодня, должен писать и для экрана. Для А. Р. Годоя это почти правило. Он не только пишет для кино, но многие его произведения, в том числе рассказ "В сельве нет звезд", написаны по поставленным им фильмам.